Семейная хроника

Автор:
Сергей Аксаков

Семейная хроника

Сергей Тимофеевич Аксаков

Семейная хроника #1

«Тесно стало моему дедушке жить в Симбирской губернии, в родовой отчине своей, жалованной предкам его от царей московских; тесно стало ему не потому, чтоб в самом деле было тесно, чтоб недоставало лесу, пашни, лугов и других угодьев, – всего находилось в излишестве, – а потому, что отчина, вполне еще прадеду его принадлежавшая, сделалась разнопоместною. Событие совершилось очень просто: три поколения сряду в роду его было по одному сыну и по нескольку дочерей; некоторые из них выходили замуж, и в приданое им отдавали часть крестьян и часть земли…»

Сергей Тимофеевич Аксаков

Семейная хроника

Степан Михайлович Багров

Переселение

Тесно стало моему дедушке жить в Симбирской губернии, в родовой отчине своей, жалованной предкам его от царей московских; тесно стало ему не потому, чтоб в самом деле было тесно, чтоб недоставало лесу, пашни, лугов и других угодьев, – всего находилось в излишестве, – а потому, что отчина, вполне еще прадеду его принадлежавшая, сделалась разнопоместною. Событие совершилось очень просто: три поколения сряду в роду его было по одному сыну и по нескольку дочерей; некоторые из них выходили замуж, и в приданое им отдавали часть крестьян и часть земли. Части их были небольшие, но уже четверо чужих хозяев имели право на общее владение неразмежеванною землею, – и дедушке моему, нетерпеливому, вспыльчивому, прямому и ненавидящему домашние кляузы, сделалась такая жизнь несносною. С некоторого времени стал он часто слышать об Уфимском наместничестве,[1 - Уфимское наместничество было образовано в 1781 г. из двух областей – Оренбургской и Уфимской.] о неизмеримом пространстве земель, угодьях, привольях, неописанном изобилии дичи и рыбы и всех плодов земных, о легком способе приобретать целые области за самые ничтожные деньги. Носились слухи, что стоило только позвать к себе в гости десяток родичей отчинников Картобынской или Кармалинской тюбы,[2 - Тюба – волость. (Прим. автора.)] дать им два-три жирных барана, которых они по-своему зарежут и приготовят, поставить ведро вина, да несколько ведер крепкого ставленого башкирского меду,[3 - Ста?вленый мед – мед, который парят в глухо замазанном сосуде.] да лагун[4 - Лагу?н – бочонок.] корчажного крестьянского пива,[5 - Корчажное пиво – варенное в корча?гах, т. е. в глиняных горшках.] так и дело в шляпе: неоспоримое доказательство, что башкирцы были не строгие магометане и в старину. Говорили, правда, что такое угощение продолжалось иногда неделю и две; да с башкирцами и нельзя вдруг толковать о деле, и надо всякий день спрашивать: «А что, знаком, добрый человек, давай говорить об мой дела».[6 - Русские обитатели Оренбургской губернии до сих пор, говоря с башкирцами, стараются точно так же ломать русскую речь, как и сами башкирцы. (Прим. автора.)] Если гости, евшие и пившие буквально день и ночь, еще не вполне довольны угощением, не вполне напелись своих монотонных песен, наигрались на чебызгах,[7 - Чебызга – дудка, которую башкирец берет в рот, как кларнет, и, перебирая лады пальцами, играет на ней двойными тонами, так что вы слышите в одно и то же время каких-то два разных инструмента. Мне сказывали музыканты, что чебызга чудное явление в мире духовых инструментов. (Прим. автора.)] наплясались, стоя и приседая на одном месте в самых карикатурных положениях, то старший из родичей, пощелкавши языком, покачав головой и не

смотря в лицо спрашивающему, с важностию скажет в ответ: «Пора не пришел – еще баран тащи». Барана, разумеется, притащат, вина, меду нальют, и вновь пьяные башкирцы поют, пляшут и спят, где ни попало… Но всему в мире есть конец; придет день, в который родич скажет, уже прямо смотря в глаза спрашивающему: «Ай, бачка, спасибо, больно спасибо! Ну что, какой твой нужда?» Тут, как водится, с природною русскому человеку ловкостию и плутовством, покупщик начнет уверять башкирца, что нужды у него никакой нет, а наслышался он, что башкирцы больно добрые люди, а потому и приехал в Уфимское Наместничество и захотел с ними дружбу завести и проч. и проч.; потом речь дойдет нечаянно до необъятного количества башкирских земель, до неблагонадежности припущенников,[8 - Припущенниками называются те, которые за известную ежегодную или единовременную плату, по заключенному договору на известное число лет, живут на башкирских землях. Почти ни одна деревня припущенников, по окончании договорного срока, не оставила земель башкирских; из этого завелись сотни дел, которые обыкновенно заканчиваются тем, что припущенники оставляются на местах своего жительства в нарезкой им пятнадцатидесятинной пропорции на каждую ревизскую душу по пятой ревизии… и вот как перешло огромное количество земель Оренбургской губернии в собственность татар, мещеряков, чуваш, мордвы и других казенных поселян. (Прим. автора.)] которые год-другой заплатят деньги, а там и платить перестанут, да и останутся даром жить на их землях, как настоящие хозяева, а там и согнать их не смеешь и надо с ними судиться; за такими речами (сбывшимися с поразительной точностью) последует обязательное предложение избавить добрых башкирцев от некоторой части обременяющих их земель… и за самую ничтожную сумму покупаются целые области, и заключают договор судебным порядком, в котором, разумеется, нет и быть не может количества земли: ибо кто же ее мерил? Обыкновенно границы обозначаются урочищами,[9 - Урочище – естественный межевой знак (речка, гора, овраг и т. п.).] например вот так: «От устья речки Конлыелга до сухой березы на волчьей тропе, а от сухой березы прямо на общий сырт,[10 - Сырт – водораздел; возвышенность, разделяющая притоки двух рек.] а от общего сырта до лисьих нор, от лисьих нор до Солтамраткиной борти» и прочее. И в таких точных и неизменных межах и урочищах заключалось иногда десять, двадцать и тридцать тысяч десятин земли! И за всё это платилось каких-нибудь сто рублей (разумеется, целковыми) да на сто рублей подарками, не считая частных угощений. – Полюбились дедушке моему такие рассказы; и хотя он был человек самой строгой справедливости и ему не нравилось надуванье добродушных башкирцев, но он рассудил, что не дело дурно, а способ его исполнения, и что, поступя честно, можно купить обширную землю за сходную плату, что можно перевесть туда половину родовых своих крестьян и переехать самому с семейством, то есть

достигнуть главной цели своего намерения; ибо с некоторого времени до того надоели ему беспрестанные ссоры с мелкопоместными своими родственниками за общее владение землей, что бросить свое родимое пепелище, гнездо своих дедов и прадедов, сделалось любимою его мыслию, единственным путем к спокойной жизни, которую он, человек уже не молодой, предпочитал всему.

Итак, накопивши несколько тысяч рублей, простившись с своей супругою, которую звал Аришей, когда был весел, и Ариной, когда бывал сердит, поцеловав и благословив четырех малолетнихдочерей и особенно новорожденного сына, единственную отрасль и надежду старинного дворянского своего дома, ибо дочерей считал он ни за что. «Что в них проку! ведь они глядят не в дом, а из дому. Сегодня Багровы, а завтра Шлыгины, Малыгины, Поповы, Колпаковы. Одна моя надежда – Алексей…» – сказал, на прощанье мой дедушка и отправился за Волгу, в Уфимское наместничество.

Но не сказать ли вам наперед, что за человек был мой дедушка.

Степан Михайлович Багров, так звали его, был не только среднего, а даже небольшого роста; но высокая грудь, необыкновенно широкие плечи, жилистые руки, каменное, мускулистое тело обличали в нем силача. В разгульной юности, в молодецких потехах, кучу военных товарищей, на него нацеплявшихся, стряхивал он, как брызги воды стряхивает с себя коренастый дуб после дождя, когда его покачнет ветер. Правильные черты лица, прекрасные большие темно-голубые глаза, легко загоравшиеся гневом, но тихие и кроткие в часы душевного спокойствия, густые брови, приятный рот, всё это вместе придавало самое открытое и честное выражение его лицу; волосы у него были русые. Не было человека, кто бы ему не верил; его слово, его обещание было крепче и святее всяких духовных и гражданских актов. Природный ум его был здрав и светел. Разумеется, при общем невежестве тогдашних помещиков и он не получил никакого образования, русскую грамоту знал плохо; но служа в полку, еще до офицерского чина выучился он первым правилам арифметики и выкладке на счетах, о чем любил говорить даже в старости. Вероятно, он служил не очень долго, ибо вышел в отставку каким-то полковым квартирмейстером. Впрочем, тогда дворяне долго служили в солдатском и унтер-офицерском званиях, если не проходили их в колыбели и не падали всем на голову из сержантов гвардии капитанами в армейские полки. О служебном поприще Степана Михайловича я мало знаю; слышал только, что он бывал часто употребляем для поимки волжских разбойников и что всегда оказывал благоразумную распорядительность и безумную храбрость в исполнении своих распоряжений;

что разбойники знали его в лицо и боялись, как огня. Вышед в отставку, несколько лет жил он в своем наследственном селе Троицком, Багрово тож, и сделался отличным хозяином. Он не торчал день и ночь при крестьянских работах, не стоял часовым при ссыпке и отпуске хлеба; смотрел редко да метко, как говорят русские люди, и, уж прошу не прогневаться, если замечал что дурное, особенно обман, то уже не спускал никому. Дедушка, сообразно духу своего времени, рассуждал по-своему: наказать виноватого мужика тем, что отнять у него собственные дни, значит вредить его благосостоянию, то есть своему собственному; наказать денежным взысканием – тоже; разлучить с семейством, отослать в другую вотчину, употребить в тяжелую работу – тоже, и еще хуже, ибо отлучка от семейства – несомненная порча; прибегнуть к полиции… боже помилуй, да это казалось таким срамом и стыдом, что вся деревня принялась бы выть по виноватом, как по мертвом, а наказанный счел бы себя опозоренным, погибшим. Да и надо сказать, что дедушка мой был строг только в пылу гнева; прошел гнев, прошла и вина. Этим пользовались: иногда виноватый успевал спрятаться, и гроза проходила мимо. Скоро крестьяне его пришли в такое положение, что было не на кого и не за что рассердиться.

Приведя в порядок свое хозяйство, дедушка мой женился на Арине Васильевне Неклюдовой, небогатой девице, также из старинного дворянского дома. При этом случае кстати объяснить, что древность дворянского происхождения была коньком моего дедушки, и, хотя у него было 180 душ крестьян, но производя свой род, бог знает по каким документам, от какого-то варяжского князя, он ставил свое семисотлетнее дворянство выше всякого богатства и чинов. Он не женился на одной весьма богатой и прекрасной невесте, которая ему очень нравилась, единственно потому, что прадедушка ее был не дворянин.

Итак, вот каков был Степан Михайлович; теперь возвратимся к прерванному рассказу.

Переправившись чрез Волгу под Симбирском, дедушка перебил поперек степную ее сторону, называемую луговою, переехал Черемшан, Кандурчу, чрез Красное поселение, слободу селившихся тогда отставных солдат, и приехал в Сергиевск, стоящий на горе при впадении реки Сургута в Большой Сок. Сергиевск – ныне заштатный город, давший свое имя находящимся в двенадцати верстах от него серным источникам, известным под названием Сергиевских серных вод. Чем дальше углублялся дедушка в Уфимское наместничество, тем привольнее, изобильнее становились места. Наконец, в Бугурусланском уезде, около Абдуловского казенного винного завода, показались леса. В уездном городе

Бугуруслане, расположенном по высокой горе, над рекою Большой Кинель, про которую долго певалась песня:

Кинель река

Не быстра, глубока,

Только тениста, —

в Бугуруслане остановился Степан Михайлович, чтоб порасспросить и поразузнать поближе о продающихся землях. В этом уезде уже мало оставалось земель, принадлежавших башкирцам: все заселялись или казенными крестьянами, которым правительство успело раздать земли, описанные в казну за Акаевский бунт,[11 - Акаевский бунт – одно из крупнейших восстаний башкирского народа, вспыхнувшее в 1735 году под предводительством Акая.] прежде всеобщего прощения и возвращения земель отчинникам-башкирцам, или были уже заселены их собственными припущенниками, или куплены разными помещиками. Из Бугуруслана дедушка делал поездки в Бугульминский, Бирский и Мензелинский уезды (из некоторых частей двух последних составлен ныне новый Белебеевский уезд); побывал он на прекрасных берегах Ика и Демы. Места очаровательные! И в старости Степан Михайлович с восторгом вспоминал о первом впечатлении, произведенном на него изобильными, плодоносными окрестностями этих рек; но он не поддался обольщению и узнал покороче на месте, что покупка башкирских земель неминуемо поведет за собой бесконечные споры и тяжбы, ибо хозяева сами хорошенько не знали прав своих и числа настоящих отчинников. Дедушка мой, ненавидящий и боявшийся, как язвы, слова тяжба, решился купить землю, прежде купленную другим владельцем, справленную и отказанную за него судебным порядком, предполагая, что тут уже не может быть никакого спора.

Казалось, что суждение его было справедливо, но на деле вышло совсем другое, и меньшой внук его, уже будучи сорока лет, покончил последний спор. С сожалением воротился с берегов Ика и Демы дедушка мой в Бугуруслан и в двадцати пяти верстах от него купил землю у помещицы Грязевой по речке Большой Бугуруслан, быстрой, глубокой и многоводной. На сорок верст протяжения, от города Бугуруслана до казенного селения Красный Яр, оба берега его были не заселены. Что за угодье, что за приволье было тогда на этих берегах! Вода такая чистая, что даже в омутах, сажени в две глубиною, можно было видеть на дне брошенную медную денежку! Местами росла густая урема[12 - Уремой называется лес и кусты, растущие около рек. (Прим. автора.)]

из березы, осины, рябины, калины, черемухи и чернотала, вся переплетенная зелеными гирляндами хмеля и обвешанная палевыми кистями его шишек; местами росла тучная высокая трава с бесчисленным множеством цветов, над которыми возносили верхи свои душистая кашка, татарское мыло (боярская спесь), скорлазубец (царские кудри) и кошачья трава (валериана). Бугуруслан течет по долине; по обеим сторонам его тянутся, то теснясь, то отступая, отлогие, а иногда и крутые горы; по скатам и отрогам их изобильно рос всякий черный лес; поднимешься на гору, – там равнина – непочатая степь, чернозем в аршин глубиною. По реке и окружающим ее инде болотам все породы уток и куликов, гуси, бекасы, дупели и курахтаны вили свои гнезда и разнообразным криком и писком наполняли воздух; на горах же, сейчас превращавшихся в равнины, покрытые тучною травою, воздух оглашался другими особенными свистами и голосами; там водилась во множестве вся степная птица: дрофы, журавли, стрепета, кроншнепы и кречетки; по лесистым отрогам жила бездна тетеревов; река кипела всеми породами рыб, которые могли сносить ее студеную воду: щуки, окуни, голавли, язи, даже кутема и лох изобильно водились в ней; всякого зверя и в степях и лесах было невероятное множество; словом сказать: это был – да и теперь есть – уголок обетованный. – Дедушка купил около пяти тысяч десятин земли и заплатил так дорого, как никто тогда не плачивал, по полтине за десятину. Две тысячи пятьсот рублей в то время была великая сумма. Совершив купчую крепость и приняв землю во владение, то есть справив и отказав ее за собою, весело воротился он в Симбирскую губернию к ожидавшему его семейству и живо, горячо принялся за все приготовления к немедленному переселению крестьян: дело очень хлопотливое и трудное по довольно большому расстоянию, ибо от села Троицкого до новокупленной земли было около четырехсот верст. В ту же осень двадцать тягол отправились в Бугурусланский уезд, взяв с собою сохи, бороны и семянной ржи; на любых местах взодрали они девственную почву, обработали двадцать десятин озимого посеву, то есть переломали непареный залог и посеяли рожь под борону; потом подняли нови еще двадцать десятин для ярового сева, поставили несколько изб и воротились на зиму домой. В конце зимы другие двадцать человек отправились туда же и с наступившею весною посеяли двадцать десятин ярового хлеба, загородили плетнями дворы и хлевы, сбили глиняные печи и опять воротились в Симбирскую губернию; но это не были крестьяне, назначаемые к переводу; те оставались дома и готовились к переходу на новые места: продавали лишний скот, хлеб, дворы, избы, всякую лишнюю рухлядь. Наконец, в половине июня, чтобы поспеть к Петрову дню, началу сенокоса, нагрузив телеги женами, детьми, стариками и старухами, прикрыв их согнутыми лубьями от дождя и солнца, нагромоздив необходимую домашнюю посуду, насажав дворовую птицу на верхи возов и привязав к ним коров, потянулись в

путь бедные переселенцы, обливаясь горькими слезами, навсегда прощаясь с стариною, с церковью, в которой крестились и венчались, и с могилами дедов и отцов. Переселение, тяжкое везде, особенно противно русскому человеку; но переселяться тогда в неизвестную басурманскую сторону, про которую, между хорошими, ходило много и недобрых слухов, где, по отдаленности церквей, надо было и умирать без исповеди и новорожденным младенцам долго оставаться некрещенными, – казалось делом страшным!.. За крестьянами отправился и дедушка. Новоселившуюся деревню назвал Знаменским, дав обет, со временем, при благоприятных обстоятельствах построить церковь во имя знамения божия матери, празднуемого 27 ноября, что и было исполнено уже его сыном. Но крестьяне, а за ними и все окружные соседи, назвали новую деревеньку Новым Багровом, по прозванию своего барина и в память Старому Багрову, из которого были переведены: даже и теперь одно последнее имя известно всем, а первое остается только в деловых актах: богатого села Знаменского с прекрасною каменною церковию и высоким господским домом не знает никто. Неусыпно и неослабно смотрел дедушка за крестьянскими и за господскими работами: вовремя убрался с сенокосом, вовремя сжал яровое и ржаное и вовремя свез в гумно. Урожай был неслыханный, баснословный. Крестьяне ободрились. К ноябрю месяцу у всех были построены избы, и даже поспел небольшой господский флигель. Разумеется, дело не обошлось без вспоможения соседей, которые, несмотря на дальнее расстояние, охотно приезжали на помочи к новому разумному и ласковому помещику, – попить, поесть и с звонкими песнями дружно поработать. Зимой дедушка отправился в Симбирскую деревню и перевез свое семейство. На следующий год уже не так трудно было перевесть еще сорок душ и обзавести их хозяйством. Первым делом дедушки было в этот же год построить мельницу, ибо молоть хлеб надо было ездить верст за сорок. Итак, выбрав заранее место, где вода была не глубока, дно крепко, а берега высоки и также крепки, с обеих сторон реки подвели к ней плотину из хвороста и земли, как две руки, готовые схватиться, а для большей прочности оплели плотину плетнем из гибкой ивы; оставалось удержать быструю и сильную воду и заставить ее наполнить назначенное ей водоемище. С одной стороны, где берег казался пониже, заранее устроен был мельничный амбар на два мукомольные постава с толчеей. Все снасти были готовы и даже смазаны; на огромные водяные колеса через деревянные трубы кауза[13 - Каузом называется деревянный ящик, по которому вода бежит и падает на колеса: около Москвы зовут его дворец (дверец), а в иных местах скрыни. (Прим. автора.)] должна была броситься река, когда, прегражденная в своем природном русле, она наполнит широкий пруд и станет выше дна кауза. Когда всё уже было готово и четыре длинные дубовые сваи крепко вколочены в твердое, глинистое дно Бугуруслана, поперек будущего вешняка, дедушка сделал помочь на два дня;

соседи были приглашены с лошадьми, телегами, лопатами, вилами и топорами. В первый день огромные кучи хвороста из нарубленного мелкого леса и кустов, копны соломы, навозу и свежего дерна были нагромождены по обеим сторонам Бугуруслана, до сих пор вольно, неприкосновенно стремившего свои воды. На другой день, на восходе солнца, около ста человек собрались занимать заимку, то есть запрудить реку. На всех лицах было что-то заботливое и торжественное: все к чему-то готовились; вся деревня почти не спала эту ночь. Дружно в одно и то же мгновенье; с громким криком сдвинули в реку с обоих берегов кучи хвороста, сначала связанного пучками; много унесло быстрое течение воды, но много его, задержанного сваями, легло поперек речного дна; связанные копны соломы с каменьями полетели туда же, за ними следовал навоз и земля; опять настилка хвороста, и опять солома и навоз, и сверху всего толстые слои дерна. Когда всё это, кое-как затопленное, стало выше поверхности воды, человек двадцать крестьян, дюжих и ловких, вскочили на верх запруды и начали утаптывать и уминать ее ногами. Всё это производилось с такою быстротою, с таким общим рвением, беспрерывным воплем, что всякий проезжий или прохожий испугался бы, услыхав его, если б не знал причины. Но пугаться было некому; одни дикие степи и темные леса на далекое пространство оглашались неистовыми криками сотни работников, к которым присоединялось множество голосов женских и еще больше ребячьих, ибо всё принимало участие в таком важном событии, всё суетилось, бегало и кричало. Не скоро сладили с упрямою рекой; долго она рвала и уносила хворост, солому, навоз и дерн; но, наконец, люди одолели, вода не могла пробиться более, остановилась, как бы задумалась, завертелась, пошла назад, наполнила берега своего русла, затопила, перешла их, стала разливаться по лугам, и к вечеру уже образовался пруд, или, лучше сказать, всплыло озеро без берегов, без зелени, трав и кустов, на них всегда растущих; кое-где торчали верхи затопленных погибших дерев. На другой день затолкла толчея, замолола мельница – и мелет и толчет до сих пор…

Оренбургская губерния

Боже мой, как, я думаю, была хороша тогда эта дикая, девственная, роскошная природа!.. Нет, ты уже не та теперь, не та, какою даже и я зазнал тебя – свежею, цветущею, неизмятою отвсюду набежавшим разнородным народонаселением! Ты не та, но всё еще прекрасна, так же обширна, плодоносна и бесконечно разнообразна, Оренбургская губерния!.. Дико звучат два эти последние слова! Бог знает, как и откуда зашел туда бург!.. Но я зазнал тебя, благословенный

край, еще Уфимским наместничеством!

Чудесный край, благословенный,

Хранилище земных богатств,

Не вечно будешь ты, забвенный,

Служить для пастырей и паств!

И люди набегут толпами,

Твое приволье полюбя,

И не узнаешь ты себя

Под их нечистыми руками!

Помнут луга, порубят лес,

Взмутят в водах лазурь небес!

И горы соляных кристаллов

По тузлукам твоим найдут,

И руды дорогих металлов

Из недр глубоких извлекут!

И тук земли не истощенный

Всосут чужие семена,

Чужие снимут племена

Их плод, сторицей возвращенный!

И вглубь лесов и в даль степей

Разгонят дорогих зверей!

Так писал о тебе, лет тридцать тому назад, один из твоих уроженцев,[14 - «Так писал о тебе, лет тридцать тому назад, один из твоих уроженцев», – Аксаков привел стихи, написанные им самим.] и всё это отчасти уже исполнилось или исполняется с тобою; но всё еще прекрасен ты, чудесный край! Светлы и

прозрачны, как глубокие, огромные чаши, стоят озера твои – Кандры и Каратабынь. Многоводны и многообильны разнообразными породами рыб твои реки, то быстротекущие по долинам и ущельям между отраслями Уральских гор, то светло и тихо незаметно катящиеся по ковылистым степям твоим, подобно яхонтам,[15 - Яхонт – старинное название драгоценных камней – сапфира и рубина.] нанизанным на нитку. Чудны эти степные реки, все из бесчисленных, глубоких водоемин, соединяющихся узкими и мелкими протоками, в которых только и приметно течение воды. В твоих быстрых родниковых ручьях, прозрачных и холодных, как лед, даже в жары знойного лета, бегущих под тенью дерев и кустов, – живут все породы форелей, изящных по вкусу и красивых по наружности, скоро пропадающих, когда человек начнет прикасаться нечистыми руками своими к девственным струям их светлых прохладных жилищ. Чудесной растительностью блистают твои тучные, черноземные, роскошные луга и поля, то белеющие весной молочным цветом вишенника, клубничника и дикого персика, то покрытые летом, как красным сукном, ягодами ароматной полевой клубники и мелкою вишнею, зреющею позднее и темнеющею к осени. Обильною жатвой награждается ленивый и невежественный труд пахаря, кое-как и кое-где всковырявшего жалкою сохою или неуклюжим сабаном твою плодоносную почву! Свежи, зелены и могучи стоят твои разнородные черные леса, и рои диких пчел шумно населяют нерукотворные борти[16 - Борть – дуплистое дерево, в котором водятся дикие пчелы.] твои, занося их душистым липовым медом. И уфимская куница, более всех уважаемая, не перевелась еще в лесистых верховьях рек Уфы и Белой! Мирны и тихи патриархальные первобытные обитатели и хозяева твои, кочевые башкирские племена! Много уменьшились, но еще велики, многочисленны конские табуны, и коровьи, и овечьи стада их. Еще попрежнему, после жестокой, буранной зимы, отощалые, исхудалые, как зимние мухи, башкирцы с первым весенним теплом, с первым подножным кормом выгоняют на привольные места наполовину передохшие от голода табуны и стада свои, перетаскиваясь и сами за ними с женами и детьми… И вы никого не узнаете через две или три недели! Из лошадиных остовов явятся бодрые и неутомимые кони, и уже степной жеребец гордо и строго пасет косяк кобылиц своих, не подпуская к нему ни зверя, ни человека!.. Раздобрели тощие, зимние стада коров, полны питательной влагой вымя и сосцы их. Но что башкирцу до ароматного коровьего молока! Уже поспел живительный кумыс,[17 - Кумыс – напиток из кобыльего молока; молоко заквашивается особым способом.] закис в кобыльих турсуках,[18 - Турсук – мешок из сырой кожи, снятый с лошадиной ноги. (Прим. автора.)] и всё, что может пить, от грудного младенца до дряхлого старика, пьет допьяна целительный, благодатный, богатырский напиток, и дивно исчезают все недуги голодной зимы и даже старости: полнотой одеваются осунувшиеся лица,

румянцем здоровья покрываются бледные, впалые щеки. Но странный и грустный вид представляют покинутые селения! Наскачет иногда на них ничего подобного не видавший заезжий путешественник и поразится видом опустелой, как будто вымершей деревни! Дико и печально смотрят на него окна разбросанных юрт с белыми трубами, лишенные пузырчатых оконниц, как человеческие лица с выткнутыми глазами… Кое-где лает на привязи сторожевой голодный пес, которого изредка навещает и кормит хозяин, кое-где мяучит одичалая кошка, сама промышляющая себе пищу, – и никого больше, ни одной души человеческой.

Как живописны и разнообразны, каждая в своем роде, лесная, степная и гористая твоя полоса, особенно последняя, по скату Уральского хребта, всеми металлами богатая, золотоносная полоса! Какое пространство от границ Вятской и Пермской губерний, где по зимам не в редкость замерзание ртути, до Гурьева городка на границе Астраханской губернии, где растет мелкий виноград на открытом воздухе, чихирем которого прохлаждаются в летние жары, греются зимою и торгуют уральские казаки! Что за чудесное рыболовство по Уралу! Единственное и по вкусу добываемой красной рыбы[19 - Красной рыбой называются белуга, осетр, севрюга, шип, белорыбица и другие. (Прим. автора.)] и по своему исполнению. Ба?греньем[20 - Багренье – лов рыбы багром.] называется это рыболовство, и ждет оно горячей и верной кисти, чтоб возбудить общее внимание… Но виноват, заговорился я, говоря о моей прекрасной родине. Посмотрим лучше, как продолжает жить и действовать мой неутомимый дедушка.

Новые места

Ну, отдохнул Степан Михайлович и не раз от души перекрестился, когда перебрался на простор и приволье берегов Бугуруслана. Не только повеселел духом, но и поздоровел телом. Ни просьб, ни жалоб, ни ссор, ни шума! Ни Воейковых, ни Мошенских, ни Сущевых![21 - Помещики, жившие с дедушкой в Старом Багрове и владевшие вместе с ним неразмежеванной землей. (Прим. автора.)] Ни лесных порубок, ни хлебных потрав, ни помятых лугов! Один полный господин не только над своей землей, но и над чужой. Паси стада, коси траву, руби дрова – никто и слова не скажет. Крестьяне тоже как раз привыкли к новому месту, и полюбилось им оно. Да и как не привыкнуть, как не полюбить! Из безводного и лесного села Троицкого, где было так мало лугов, что с трудом

прокармливали по корове, да по лошади на тягло, где с незапамятных времен пахали одни и те же загоны, и несмотря на превосходную почву, конечно, повыпахали и поистощили землю, – переселились они на обширные плодоносные поля и луга, никогда не тронутые ни косой, ни сохой человека, на быструю, свежую и здоровую воду с множеством родников и ключей, на широкий, проточный и рыбный пруд и на мельницу у самого носа, тогда как прежде таскались они за двадцать пять верст, чтобы смолоть воз хлеба, да и то случалось несколько дней ждать очереди. Вы удивитесь, может быть, что я назвал Троицкое безводным? Обвините стариков, зачем они выбрали такое место? Но дело было не так вначале, и стариков винить не за что: Троицкое некогда сидело на прекрасной речке Майне, вытекавшей версты за три от селения из-под Моховых озер, да сверх того вдоль всего селения тянулось, хотя не широкое, но длинное, светлое и в середине глубокое озеро, дно которого состояло из белого песка; из этого озера даже, бежал ручей, называвшийся Белый ключ. Так было в старину, давно, правда, очень давно. По преданию известно, что Моховые озера были некогда глубокими лесными круглыми провалами с прозрачною, холодною, как лед, водою и топкими берегами, что никто не смел близко подходить к ним ни в какое время, кроме зимы, что будто бы берега опускались и поглощали дерзкого нарушителя неприкосновенного царства водяных чертей. Но человек – заклятый и торжествующий изменитель лица природы! Старинному преданию, не подтверждаемому новыми событиями, перестали верить, и Моховые озера мало-помалу, от мочки коноплей у берегов и от пригона стад на водопой, позасорились, с краев обмелели и даже обсохли от вырубки кругом леса; потом заплыли толстою землянистою пеленой, которая поросла мохом и скрепилась жилообразными корнями болотных трав, покрылась кочками, кустами и даже сосновым лесом, уже довольно крупным; один провал затянуло совсем, а на другом остались два глубокие, огромные окна, к которым и теперь страшно подходить с непривычки, потому что земля, со всеми болотными травами, кочками, кустами и мелким лесом, опускается и поднимается под ногами, как зыбкая волна. От уменьшения, вероятно, Моховых озер, речка Майна поникла вверху и уже выходит из земли несколько верст ниже селения, а прозрачное, длинное и глубокое озеро превратилось в грязную вонючую лужу; песчаное дно, на сажень и более, затянуло тиной и всякой дрянью с крестьянских дворов; Белого ключа давно и следов нет, скоро не будет о нем и памяти.

Переселясь на новые места, дедушка мой принялся с свойственными ему неутомимостью и жаром за хлебопашество и скотоводство. Крестьяне, одушевленные его духом, так привыкли работать настоящим образом, что скоро обстроились и обзавелись, как старожилы, и в несколько лет гумна Нового

Багрова занимали втрое больше места, чем самая деревня, а табун добрых лошадей и стадо коров, овец и свиней казались принадлежащими какому-нибудь большому и богатому селению.

С легкой руки Степана Михайловича переселение в Уфимский или Оренбургский край начало умножаться с каждым годом. Со всех сторон потянулись луговая мордва, черемисы, чуваши, татары и мещеряки;[22 - Мещеряки – часть поволжских татар.] русских переселенцев, казенных крестьян разных ведомств и разнокалиберных помещиков также было не мало. Явились и соседи у дедушки: шурин его Иван Васильевич Неклюдов купил землю в двадцати верстах от Степана Михайловича, перевел крестьян, построил деревянную церковь, назвал свое село Неклюдовым и сам переехал в него с семейством, чему дедушка совсем не обрадовался: до всех родственников своей супруги, до всей неклюдовщины, как он называл их, Степан Михайлович был большой неохотник. Помещик Бахметев купил землю еще ближе, верстах в десяти от Багрова, на верховье речки Совруши, текущей параллельно с Бугурусланом на юго-запад; он также перевел крестьян и назвал деревню Бахметевкой. С другой стороны, верстах в двадцати по реке Насягай или Мочагай, как и до сих пор называют ее туземцы, также завелось помещичье селение Полибино, впоследствии принадлежавшее С. А. Плещееву, а теперь принадлежащее Карамзиным. Насягай больше и лучше Бугуруслана: полноводнее, рыбнее, и птица на нем водилась и водится гораздо изобильнее. По дороге в Полибино, прямо на восток, верстах в восьми от Багрова, заселилась на небольшом ручье большая мордовская деревня Нойкино; верстах в двух от нее построилась мельница на речке Бокле, текущей почти параллельно с Бугурусланом на юг; недалеко от мельницы впадает Бокла в Насягай, который диагоналом с северо-востока торопливо катит свои сильные и быстрые воды прямо на юго-запад. Верстах в семнадцати от Нового Багрова принимает он в себя наш Бугуруслан и, усиленный его водами, недалеко от города Бугуруслана соединяется с Большим Кинелем, теряя в нем знаменательное и звучное свое имя.

Наконец, появился мордовский выселок, под названием Кивацкого, уже только в двух верстах от дедушки, вниз по Бугуруслану; это была мордва, отделившаяся от селения Мордовский Бугуруслан, сидевшего на речке Малый Бугурусланчик верстах в девяти от Багрова. Степан Михайлович сначала поморщился от близкого соседства, напоминавшего ему старое Троицкое; но тут вышло совсем другое дело. Это были добрые, смирные люди, уважавшие дедушку не менее, как своего волостного начальника. В несколько лет Степан Михайлович умел снискать общую любовь и глубокое уважение во всем околотке. Он был истинным благодетелем дальних и близких, старых и новых своих соседей,

особенно последних, по их незнанию местности, недостатку средств и по разным надобностям, всегда сопровождающим переселенцев, которые нередко пускаются на такое трудное дело, не приняв предварительных мер, не заготовя хлебных запасов и даже иногда не имея на что купить их. Полные амбары дедушки были открыты всем – бери, что угодно. «Сможешь – отдай при первом урожае; не сможешь – бог с тобой!» С такими словами раздавал дедушка щедрою рукою хлебные запасы на семены и емены. К этому надо прибавить, что он был так разумен, так снисходителен к просьбам и нуждам, так неизменно верен каждому своему слову, что скоро сделался истинным оракулом вновь заселяющегося уголка обширного Оренбургского края. Мало того, что он помогал, он воспитывал нравственно своих соседей! Только правдою можно было получить от него всё. Кто раз солгал, раз обманул, тот и не ходи к нему на господский двор: не только ничего не получит, да в иной час дай бог и ноги унести. Много семейных ссор примирил он, много тяжебных дел потушил в самом начале. Со всех сторон ехали и шли к нему за советом, судом и приговором – и свято исполнялись они! Я знал внуков, правнуков тогдашнего поколения, благодарной памяти которых в изустных рассказах передан был благодетельный и строгий образ Степана Михайловича, не забытого еще и теперь. Много слыхал я простых и вместе глубоких воспоминаний, сопровождаемых слезами и крестным знамением об упокоении души его. Не удивительно, что крестьяне любили горячо такого барина; но также любили его и дворовые люди, при нем служившие, часто переносившие страшные бури его неукротимой вспыльчивости. Впоследствии некоторые из молодых слуг его доживали свой век при внуке Степана Михайловича уже стариками; часто рассказывали они о строгом, вспыльчивом, справедливом и добром своем старом барине и никогда без слез о нем не вспоминали.

И этот добрый, благодетельный и даже снисходительный человек омрачался иногда такими вспышками гнева, которые искажали в нем образ человеческий и делали его способным на ту пору к жестоким, отвратительным поступкам. Я видел его таким в моем детстве, что случилось много лет позднее того времени, про которое я рассказываю, – и впечатление страха до сих пор живо в моей памяти! Как теперь гляжу на него; он прогневался на одну из дочерей своих, кажется, за то, что она солгала и заперлась в обмане; двое людей водили его под руки; узнать было нельзя моего прежнего дедушку; он весь дрожал, лицо дергали судороги, свирепый огонь лился из его глаз, помутившихся, потемневших от ярости! «Подайте мне ее сюда!» – вопил он задыхающимся голосом. (Это я помню живо: остальное мне часто рассказывали.) Бабушка кинулась было ему в ноги, прося помилования, но в одну минуту слетел с нее платок и волосник, и Степан Михайлович таскал за волосы свою тучную, уже

старую Арину Васильевну. Между тем, не только виноватая, но и все другие сестры и даже брат их с молодою женою и маленьким сыном убежали из дома и спрятались в рощу, окружавшую дом; даже там ночевали; только молодая невестка воротилась с сыном, боясь простудить его, и провела ночь в людской избе. Долго бушевал дедушка на просторе, в опустелом доме. Наконец, уставши колотить Танайченка и Мазана, уставши таскать за косы Арину Васильевну, повалился он в изнеможении на постель и, наконец, впал в глубокий сон, продолжавшийся до раннего утра следующего дня. – Светел, ясен проснулся на заре Степан Михайлович, весело крикнул свою Аришу, которая сейчас прибежала из соседной комнаты с самым радостным лицом, как будто вчерашнего ничего не бывало. «Чаю! Где дети, Алексей, невестушка? Подайте Сережу», говорил проснувшийся безумец, и все явились, спокойные и веселые, кроме невестки с сыном. Это была женщина сама с сильным характером, и никакие просьбы не могли ее заставить так скоро броситься с ласкою к вчерашнему дикому зверю, да и маленький сын беспрестанно говорил: «Боюсь дедушки, не хочу к нему». Чувствуя себя в самом деле нехорошо, она сказалась больною и не пустила сына. Все пришли в ужас, ждали новой грозы. Но во вчерашнем диком звере сегодня уже проснулся человек. После чаю и шутливых разговоров свекор сам пришел к невестке, которая действительно была нездорова, похудела, переменилась в лице и лежала в постели. Старик присел к ней на кровать, обнял ее, поцеловал, назвал красавицей-невестынькой, обласкал внука и, наконец, ушел, сказавши, что ему «без невестыньки будет скучно». Через полчаса невестка, щегольски, по-городскому разодетая, в том самом платье, про которое свекор говорил, что оно особенно идет ей к лицу, держа сына за руку, вошла к дедушке. Дедушка встретил ее почти со слезами. «Вот и больная невестка себя не пожалела, встала, оделась и пришла развеселить старика», – сказал он с нежностью. Закусили губы и потупили глаза свекровь и золовки, все не любившие невестку, которая почтительно и весело отвечала на ласки свекра, бросая гордые и торжествующие взгляды на своих недоброхоток… Но я не стану более говорить о темной стороне моего дедушки; лучше опишу вам один из его добрых, светлых дней, о которых я много наслышался.

Добрый день Степана Михайловича

В исходе июня стояли сильные жары. После душной ночи потянул на рассвете восточный, свежий ветерок, всегда упадающий, когда обогреет солнце. На восходе его проснулся дедушка. Жарко было ему спать в небольшой горнице,

хотя с поднятым на всю подставку подъемом старинной оконной рамы с мелким переплетом, но зато в пологу из домашней рединки. Предосторожность необходимая: без полога заели бы его злые комары и не дали уснуть. Роями носились и тыкались длинными жалами своими в тонкую преграду крылатые музыканты и всю ночь пели ему докучные серенады. Смешно сказать, а грех утаить, что я люблю дишкантовый писк и даже кусанье комаров: в них слышно мне знойное лето, роскошные бессонные ночи, берега Бугуруслана, обросшие зелеными кустами, из которых со всех сторон неслись соловьиные песни; я помню замирание молодого сердца и сладкую, безотчетную грусть, за которую отдал бы теперь весь остаток угасающей жизни… Проснулся дедушка, обтер жаркою рукою горячий пот с крутого, высокого лба своего, высунул голову из-под полога и рассмеялся. Ванька Мазан и Никанорка Танайченок храпели врастяжку на полу, в карикатурно-живописных положениях. «Эк храпят, собачьи дети!» – сказал дедушка и опять улыбнулся. Степан Михайлович был загадочный человек: после такого сильного словесного приступа следовало бы ожидать толчка калиновым подожком (всегда у постели его стоявшим) в бок спящего или пинка ногой, даже приветствия стулом; но дедушка рассмеялся, просыпаясь, и на весь день попал в добрый стих, как говорится. Он встал без шума, раз-другой перекрестился, надел порыжелые, кожаные туфли на босые ноги и в одной рубахе из крестьянской оброчной лленой холстины (ткацкого тонкого полотна на рубашки бабушка ему не давала) вышел на крыльцо, где приятно обхватила его утренняя, влажная свежесть. Я сейчас сказал, что ткацкого холста на рубашки Арина Васильевна не давала Степану Михайловичу, и всякий читатель вправе заметить, что это не сообразно с характерами обоих супругов. Но как же быть – прошу не прогневаться, так было на деле: женская натура торжествовала над мужскою, как и всегда! Не раз битая за толстое белье, бабушка продолжала подавать его и, наконец, приучила к нему старика. Дедушка употребил однажды самое действительное, последнее средство; он изрубил топором на пороге своей комнаты все белье, сшитое из оброчной лленой холстины, несмотря на вопли моей бабушки, которая умоляла, чтоб Степан Михайлович «бил ее, да своего добра не рубил…», но и это средство не помогло: опять явилось толстое белье – и старик покорился… Виноват, опровергая мнимое замечание читателя, я прервал рассказ про «добрый день моего дедушки». Никого не беспокоя, он сам достал войлочный потник, лежавший всегда в чулане, подостлал его под себя на верхней ступени крыльца и сел встречать солнышко по всегдашнему своему обычаю. – Перед восходом солнца бывает весело на сердце у человека как-то бессознательно, а дедушке, сверх того, весело было глядеть на свой господский двор, всеми нужными по хозяйству строениями тогда уже достаточно снабженный. Правда, двор был не обгорожен, и выпущенная с крестьянских дворов скотина, собираясь в общее мирское стадо для выгона в поле, посещала

его мимоходом, как это было и в настоящее утро и как всегда повторялось по вечерам. Несколько запачканных свиней потирались и почесывались о самое то крыльцо, на котором сидел дедушка, и, хрюкая, лакомились раковыми скорлупами и всякими столовыми объедками, которые без церемонии выкидывались у того же крыльца; заходили также и коровы и овцы; разумеется, от их посещений оставались неопрятные следы; но дедушка не находил в этом ничего неприятного, а, напротив, любовался, глядя на здоровый скот как на верный признак довольства и благосостояния своих крестьян. Скоро громкое хлопанье длинного пастушьего кнута угнало посетителей. Начала просыпаться дворня. Дюжий конюх Спиридон, которого до глубокой старости звали «Спирькой», выводил, одного за другим, двух рыже-пегих и третьего бурого жеребца, привязывал их к столбу, чистил и проминал на длинной коновязи, причем дедушка любовался их статями, заранее любовался и тою породою, которую надеялся повести от них, в чем и успел совершенно. Проснулась и старая ключница, спавшая на погребице, вышла из погреба, сходила на Бугуруслан умыться, повздыхала, поохала (это была ее неизменная привычка), помолилась богу, оборотясь к солнечному восходу, и принялась мыть, полоскать, чистить горшки и посуду. Весело кружились в небе, щебетали и пели ласточки и косаточки, звонко били перепела в полях, рассыпались в воздухе песни жаворонков, надседаясь хрипло кричали в кустах дергуны; подсвистыванье погонышей, токованье и блеянье дикого барашка неслись с ближнего болота, варакушки взапуски передразнивали соловьев; выкатывалось из-за горы яркое солнце!.. Задымились крестьянские избы, погнулись по ветру сизые столбы дыма, точно вереница речных судов выкинула свои флаги; потянулись мужички в поле… Захотелось дедушке умыться студеной водою и потом напиться чаю. Разбудил он безобразно спавших слуг своих. Повскакали они, как полоумные, в испуге, но веселый голос Степана Михайловича скоро ободрил их: «Мазан, умываться! Танайченок, будить Аксютку и барыню, – чаю!» Не нужно было повторять приказаний: неуклюжий Мазан уже летел со всех ног с медным, светлым рукомойником на родник за водою, а проворный Танайченок разбудил некрасивую молодую девку Аксютку, которая, поправляя свалившийся на бок платок, уже будила старую, дородную барыню Арину Васильевну. В несколько минут весь дом был на ногах, и все уже знали, что старый барин проснулся весел. Через четверть часа стоял у крыльца стол, накрытый белою браною скатерткой домашнего изделья, кипел самовар в виде огромного медного чайника, суетилась около него Аксютка, и здоровалась старая барыня, Арина Васильевна, с Степаном Михайловичем, не охая и не стоная, что было нужно в иное утро, а весело и громко спрашивала его о здоровье: «Как почивал и что во сне видел?» Ласково поздоровался дедушка с своей супругой и назвал ее Аришей; он никогда не целовал ее руки, а свою давал целовать в знак милости.

Арина Васильевна расцвела и помолодела: куда девалась ее тучность и неуклюжесть! Сейчас принесла скамеечку и уселась возле дедушки на крыльце, чего никогда не смела делать, если он не ласково встречал ее. «Напьемся-ка вместе чайку, Ариша! – заговорил Степан Михайлович, – покуда не жарко. Хотя спать было душно, а спал я крепко, так что и сны все заспал. Ну, а ты?» Такой вопрос был необыкновенная ласка, и бабушка поспешно отвечала, что которую ночь Степан Михайлович хорошо почивает, ту и она хорошо спит; но что Танюша всю ночь металась. Танюша была меньшая дочь, и старик любил ее больше других дочерей, как это часто случается; он обеспокоился такими словами и не приказал будить Танюшу до тех пор, покуда сама не проснется. Татьяну Степановну разбудили вместе с Александрой и Елизаветой Степановнами, и она уже оделась; но об этом сказать не осмелились. Танюша проворно разделась, легла в постель, велела затворить ставни в своей горнице и хотя заснуть не могла, но пролежала в потемках часа два; дедушка остался доволен, что Танюша хорошо выспалась. Единственного сынка, которому было девять лет, никогда не будили рано. Старшие дочери явились немедленно; Степан Михайлович ласково дал им поцеловать руку и назвал одну Лизынькой, а другую Лексаней. Обе были очень не глупы, Александра же соединяла с хитрым умом отцовскую живость и вспыльчивость, но добрых свойств его не имела. Бабушка была женщина самая простая и находилась в полном распоряжении у своих дочерей; если иногда она осмеливалась хитрить с Степаном Михайловичем, то единственно по их наущению, что, по неуменью, редко проходило ей даром и что старик знал наизусть; он знал и то, что дочери готовы обмануть его при всяком удобном случае, и только от скуки или для сохранения собственного покоя, разумеется будучи в хорошем расположении духа, позволял им думать, что они надувают его; при первой же вспышке всё это высказывал им без пощады, в самых нецеремонных выражениях, а иногда и бивал, но дочери, как настоящие Евины внучки, не унывали: проходил час гнева, прояснялось лицо отца, и они сейчас принимались за свои хитрые планы и нередко успевали.

Накушавшись чаю и поговоря о всякой всячине с своей семьей, дедушка собрался в поле. Он уже давно сказал Мазану: «Лошадь!» и старый бурый мерин, запряженный в длинные крестьянские дроги, или роспуски, чрезвычайно покойные, переплетенные частою веревочной решеткою, с длинным лубком посередине, накрытым войлоком, уже стоял у крыльца. Конюх Спиридон сидел кучером в незатейливом костюме, то есть просто в одной рубахе, босиком, подпоясанный шерстяным тесемочным красным поясом, на котором висел ключ и медный гребень. В предыдущий раз Спиридон ездил в такую же экспедицию даже без шляпы, но дедушка побранил его за то, и на этот раз он приготовил себе что-то вроде шапки, сплетенной из широких лык; дедушка посмеялся над

его шлычкой[23 - Шлычка – женский головной убор, вроде чепца.] и, надев полевой кафтан из небеленого домашнего холста да картуз и подостлав под себя про запас от дождя армяк, сел на дроги. Спиридон также подложил под себя сложенный втрое свой обыкновенный зипун из крестьянского белого сукна, но окрашенный в яркокрасный цвет марены,[24 - Марена (крапп) – травянистое растение. Из корней добывается красная краска для тканей.] которой много родилось в полях. Этот красный цвет был в таком употреблении у стариков, что багровских дворовых соседи звали «маренниками»; я сам слыхал это прозвище лет пятнадцать после смерти дедушки. В поле Степан Михайлович был всем доволен. Он осмотрел отцветавшую рожь, которая, в человека вышиною, стояла, как стена; дул легкий ветерок, и сине-лиловые волны ходили по ней, то светлее, то темнее отражаясь на солнце. Любо было глядеть хозяину на такое поле! Дедушка объехал молодые овсы, полбы и все яровые хлеба; потом отправился в паровое поле и приказал возить себя взад и вперед по вспаренным десятинам. Это был его обыкновенный способ узнавать доброту пашни: всякая целизна, всякое нетронутое сохою местечко сейчас встряхивало качкие дроги, и если дедушка бывал не в духе, то на таком месте втыкал палочку или прутик, посылал за старостой, если его не было с ним, и расправа производилась немедленно. В этот раз всё шло благополучно; может быть, и попадались целизны, только Степан Михайлович их не замечал или не хотел заметить. Он заглянул также на места степных сенокосов и полюбовался густой высокой травой, которую чрез несколько дней надо было косить. Он побывал и на крестьянских полях, чтобы знать самому, у кого уродился хлеб хорошо и у кого плохо, даже пар крестьянский объехал и попробовал, всё заметил и ничего не забыл. Проезжая чрез залежи и увидев поспевавшую клубнику, дедушка остановился и, с помощью Мазана, набрал большую кисть крупных чудных ягод и повез домой своей Арише. Несмотря на жар, он проездил почти до полдён. Только завидели спускающиеся с горы дедушкины дроги – кушанье уже стояло на столе, и вся семья ожидала хозяина на крыльце. «Ну, Ариша, – весело сказал дедушка, – какие хлеба дает нам бог! Велика милость господня! А вот тебе и клубничка». Бабушка растаяла от радости. «Наполовину поспела, – продолжал он, – с завтрашнего дня посылать по ягоды». Говоря эти слова, он входил в переднюю; запах горячих щей несся ему навстречу из залы. «А, готово! – еще веселее сказал Степан Михайлович, – спасибо» – и, не заходя в свою комнату, прямо прошел в залу и сел за стол. Надобно сказать, что у дедушки был обычай: когда он возвращался с поля, рано или поздно, – чтоб кушанье стояло на столе, и боже сохрани, если прозевают его возвращение и не успеют подать обеда. Бывали примеры, что от этого происходили печальные последствия. Но в этот блаженный день всё шло как по маслу, всё удавалось. Здоровенный дворовый парень, Николка Рузан, стал за дедушкой с целым сучком березы, чтобы

обмахивать его от мух. Горячие щи, от которых русский человек не откажется в самые палящие жары, дедушка хлебал деревянной ложкой, потому что серебряная обжигала ему губы; за ними следовала ботвинья со льдом, с прозрачным балыком, желтой, как воск, соленой осетриной и с чищеными раками и тому подобные легкие блюда. Всё это запивалось домашней брагой и квасом, также со льдом. Обед был превеселый. Все говорили громко, шутили, смеялись; но бывали обеды, которые проходили в страшной тишине и безмолвном ожидании какой-нибудь вспышки. Все дворовые мальчишки и девчонки знали, что старый барин весело кушает, и все набились в залу за подачками; дедушка щедро оделял всех, потому что кушанья готовилось впятеро более, чем было нужно. После обеда он сейчас лег спать. Вымахали мух из полога, опустили его над дедушкой, подтыкали кругом края под перину; скоро сильный храп возвестил, что хозяин спит богатырским сном. Все разошлись по своим местам также отдыхать. Мазан и Танайченок, предварительно пообедав и наглотавшись объедков от барского стола, также растянулись на полу в передней, у самой двери в дедушкину горницу. Они спали и до обеда, но и теперь не замедлили заснуть; только духота и упека от солнца, ярко светившего в окна, скоро их разбудила. От сна и от жара пересохло у них в горле, захотелось им прохладить горячие гортани господской бражкой с ледком, и вот на какую штуку пустились дерзкие лежебоки: в непритворенную дверь достали они дедушкин халат и колпак, лежавшие на стуле у самой двери. Танайченок надел на себя барское платье и сел на крыльцо, а Мазан побежал со жбаном на погреб, разбудил ключницу, которая, как и все в доме, спала мертвым сном, требовал поскорее проснувшемуся барину студеной браги, и, когда ключница изъявила сомнение, проснулся ли барин, – Мазан указал ей на фигуру Танайченка, сидящего на крыльце в халате и колпаке; нацедили браги, положили льду, проворно побежал Мазан с добычей. Жбан выпили по-братски, положили халат и колпак на старое место и целый час еще дожидались, пока проснется дедушка. Еще веселее утрешнего проснулся барин, и первое его слово было: «Студеной бражки». Перепугались лакеи: Танайченок побежал к ключнице, которая сейчас догадалась, что первый жбан выпили они сами; она отпустила пойла, но вслед за посланным сама подошла к крыльцу, на котором сидел уже в халате настоящий барин. С первых слов обман открылся, и дрожащие от страха Мазан и Танайченок повалились барину в ноги, и что ж, вы думаете, сделал дедушка?.. Расхохотался, послал за Аришей и за дочерьми и, громко смеясь, рассказал им всю проделку своих слуг. Отдохнули бедняги от страха, и даже один из них улыбнулся. Степан Михайлович заметил и чуть-чуть не рассердился; брови его уже начали было морщиться, но в его душе так много было тихого спокойствия от целого веселого дня, что лоб его разгладился и, грозно взглянув, он сказал: «Ну, бог простит на этот раз; но если в другой…»

Договаривать было, не нужно.

Нельзя не подивиться, что у такого до безумия горячего и в горячности жестокого господина люди могли решиться на такую наглую шалость. Но много раз я замечал в продолжении моей жизни, что у самых строгих господ прислуга пускалась на отчаянные проказы. С дедушкой же моим это был не единственный случай. Тот же самый Ванька Мазан, подметая однажды горницу Степана Михайловича и собираясь перестлать постель, соблазнился мягкой пуховой периной и такими же подушками, вздумал понежиться, полежать на барской кровати, лег, да и заснул. Дедушка сам нашел его, крепко спящего в этом положении, и – только рассмеялся! Правда, он отвесил ему добрый раз своим калиновым подожком, но это так, ради смеха, чтоб позабавиться испугом Мазана. Впрочем, с Степаном Михайловичем и не то случалось: во время его отсутствия выдали замуж четырнадцатилетнюю девочку, двоюродную его сестру П. И. Багрову, круглую, но очень богатую сироту, жившую у него в доме и горячо им любимую, – за такого развратного и страшного человека, которого он терпеть не мог. Конечно, это дело устроили близкие родные его сестры с материнской стороны, но с согласия Арины Васильевны и при содействии ее дочерей. Об этом я расскажу после, теперь же возвратимся к доброму дню моего дедушки.

Он проснулся часу в пятом пополудни и, после студеной бражки, несмотря на палящий зной, скоро захотел накушаться чаю, веруя, что горячее питье уменьшает тягость жара. Он сходил только искупаться в прохладном Бугуруслане, протекавшем под окнами дома, и, воротясь, нашел всю свою семью, ожидающую его у того же чайного стола, поставленного в тени, с тем же кипящим чайником, самоваром и с тою же Аксюткою. Накушавшись досыта любимого потогонного напитка с густыми сливками и толстыми подрумянившимися пенками, дедушка предложил всем ехать для прогулки на мельницу. Разумеется, все с радостью согласились, и две тетки мои, Александра и Татьяна Степановны, взяли с собой удочки, потому что были охотницы до рыбной ловли. В одну минуту запрягли двое длинных дрог: на одних сел дедушка с бабушкой, посадив промеж себя единственного своего наследника, драгоценную отрасль древнего своего дворянского рода; на других дрогах поместились три тетки и парень Николашка Рузан, взятый для того, чтоб нарыть в плотине червяков и насаживать ими удочки у барышень. На мельнице бабушке принесли скамейку, и она уселась в тени мельничного амбара, неподалеку от кауза, около которого удили ее меньшие дочери, а старшая, Елизавета Степановна, сколько из угождения к отцу, столько и по собственному расположению к хозяйству, пошла с Степаном Михайловичем осматривать

мельницу и толчею. Малолетний сынок то смотрел, как удят рыбу сестры (самому ему удить на глубоких местах еще не позволяли), то играл около матери, которая не спускала с него глаз, боясь, чтоб ребенок не свалился как-нибудь в воду. Оба камня мололи: одним обдирали пшеницу для господского стола, а на другом мололи завозную рожь; толчея толкла просо. Дедушка был знаток всякого хозяйственного дела; он хорошо разумел мельничный устав и толковал своей умной и понятливой дочери все тонкости этого дела. Он мигом увидел все недостатки в снастях или ошибки в уставе жерновов: один из них приказал опустить на ползарубки, и мука пошла мельче, чем помолец был очень доволен; на другом поставе по слуху угадал, что одна цевка в шестерне начала подтираться; он приказал запереть воду, мельник Болтуненок соскочил вниз, осмотрел и ощупал шестерню и сказал: «Правда твоя, батюшка Степан Михайлович! одна цевка маленько пообтерлась». – «То-то маленько, – без всякого неудовольствия возразил дедушка, – кабы я не пришел, так шестерня-то бы ночью сломалась». – «Виноват, Степан Михайлович, не доглядел». – «Ну, бог простит, давай новую шестерню, а у старой подтертую цевку переменить, да чтобы новая была не толще, не тоньше других – в этом вся штука». Сейчас принесли новую шестерню, заранее прилаженную и пробованную, вставили на место прежней, смазали, где надобно, дегтем, пустили воду не вдруг, а понемногу (тоже по приказанию дедушки) – и запел, замолол жернов без перебоя, без стука, а плавно и ровно. Потом пошел дедушка с своей дочерью на толчею, захватил из ступы горсть толченого проса, обдул его на ладони и сказал помольщику, знакомому мордвину: «Чего смотришь, сосед Васюха? Видишь, ни одного не отолченного зернышка нет. Ведь перепустишь, так пшена-то будет меньше». Васюха сам попробовал и сам увидел, что дедушка говорит правду; сказал спасибо, поклонился, то есть кивнул головой, и побежал запереть воду. Оттуда прошел дедушка с своей ученицей на птичный двор; там всё нашел в отличном порядке; гусей, уток, индеек и кур было великое множество, и за всем смотрела одна пожилая баба с внучкой. В знак особенной милости дедушка дал обеим поцеловать ручку и приказал, сверх месячины, выдавать птичнице ежемесячно по полпуду пшеничной муки на пироги. Весело воротился Степан Михайлович к Арине Васильевне, всем был он доволен: и дочь понятна, и мельница хорошо мелет, и птичница Татьяна Горожана[25 - Прозванье «Горожаны» она имела потому, что несколько времени смолоду жила в каком-то городе. (Прим. автора.)] хорошо смотрит за птицею.

Жар давно свалил, прохлада от воды умножала прохладу от наступающего вечера, длинная туча пыли шла по дороге и приближалась к деревне, слышалось в ней блеянье и мычанье стада, опускалось за крутую гору потухающее солнце. Стоя на плотине, любовался Степан Михайлович на широкий пруд, как зеркало,

неподвижно лежавший в отлогих берегах своих; рыба играла и плескалась беспрестанно, но дедушка не был рыбаком. «Пора, Ариша, домой, староста, чай, ждет меня», – сказал он. Меньшие дочери, видя его в веселом расположении, стали просить позволения остаться поудить, говоря, что на солнечном закате рыба клюет лучше и что через полчаса они придут пешком. Дедушка согласился и уехал с бабушкой домой на своих дрогах, а Елизавета Степановна с маленьким братом села на другие дроги. Степан Михайлович не ошибся; у крыльца ожидал его староста, да и не один, а с несколькими мужиками и бабами. Староста уже видел барина, знал, что он в веселом духе, и рассказал о том кое-кому из крестьян; некоторые, имевшие до дедушки надобности или просьбы, выходящие из числа обыкновенных, воспользовались благоприятным случаем, и все были удовлетворены: дедушка дал хлеба крестьянину, который не заплатил еще старого долга, хотя и мог это сделать; другому позволил женить сына, не дожидаясь зимнего времени, и не на той девке, которую назначил сам; позволил виноватой солдатке, которую приказал было выгнать из деревни, жить попрежнему у отца, и проч. Этого мало: всем было поднесено по серебряной чарке, вмещавшей в себе более квасного стакана, домашнего крепкого вина. Коротко и ясно отдал дедушка хозяйственные приказания старосте и поспешил за ужин, несколько времени его уже ожидавший. Вечерний стол мало отличался от обеденного, и, вероятно, кушали за ним даже поплотнее, потому что было не так жарко. После ужина Степан Михайлович имел обыкновение еще с полчаса посидеть в одной рубахе и прохладиться на крыльце, отпустя семью свою на покой. В этот раз несколько долее обыкновенного он шутил и смеялся с своей прислугой; заставлял Мазана и Танайченка бороться и драться на кулачки и так их поддразнивал, что они, не шутя, колотили друг друга и вцепились даже в волосы; но дедушка, досыта насмеявшись, повелительным словом и голосом заставил их опомниться и разойтись.

Летняя, короткая, чудная ночь обнимала всю природу. Еще не угас свет вечерней зари и не угаснет до начала соседней утренней зари! Час от часу темнела глубь небесного свода, час от часу ярче сверкали звезды, громче раздавались голоса и крики ночных птиц, как будто они приближались к человеку! Ближе шумела мельница и толкла толчея в ночном сыром тумане… Встал мой дедушка с своего крылечка, перекрестился раз-другой на звездное небо и лег почивать, несмотря на духоту в комнате, на жаркий пуховик и приказал опустить на себя полог.

Михайла Максимович Куролесов

Я обещал рассказать особо об Михайле Максимовиче Куролесове и его женитьбе на двоюродной сестре моего дедушки Прасковье Ивановне Багровой. Начало этого события происходило в 1760-х годах, прежде того времени, о котором я рассказывал в первом отрывке из «Семейной хроники», а конец – гораздо позже. Исполняю мое обещание.

Степан Михайлович был единственный сын Михаила Петровича Багрова, а Прасковья Ивановна – единственная дочь Ивана Петровича Багрова. Дедушка мой очень любил ее как единственную женскую отрасль рода Багровых и как единственную свою двоюродную сестру. Прасковья Ивановна лишилась матери еще в колыбели, а десяти лет потеряла отца. Мать ее была из рода Бактеевых и очень богата: она оставила дочери девятьсот душ крестьян, много денег и еще более драгоценных вещей и серебра; после отца также получила она триста душ; итак она была богатая сирота и будущая богатая невеста. После смерти отца она сначала жила у бабушки Бактеевой, потом приезжала и гостила подолгу в Троицком и, наконец, Степан Михайлович перевез ее на житье к себе. Любя не менее дочерей свою сестричку-сиротку, как называл ее Степан Михайлович, он был очень нежен с ней по-своему; но Прасковья Ивановна, по молодости лет или, лучше сказать, по детскости своей, не могла ценить любви и нежности своего двоюродного брата, которые не выражались никаким баловством, к чему она уже попривыкла, поживши довольно долго у своей бабушки; итак немудрено, что она скучала в Троицком и что ей хотелось воротиться к прежней своей жизни у старушки Бактеевой. Прасковья Ивановна была не красавица, но имела правильные черты лица, прекрасные умные, серые глаза, довольно широкие, длинные, темные брови, показывающие твердый и мужественный нрав, стройный высокий рост, и в четырнадцать лет казалась осьмнадцатилетнею девицей; но, несмотря на телесную свою зрелость, она была еще совершенный ребенок и сердцем и умом: всегда живая, веселая, она резвилась, прыгала, скакала и пела с утра до вечера. Голос имела чудесный, страстно любила песни, качели, хороводы и всякие игрища, и когда ничего этого не было, то целый день играла в куклы, непременно сопровождая свои игры всякого рода русскими песнями, которых и тогда знала бесчисленное множество.

За год до переезда ее к Степану Михайловичу приехал в Симбирскую губернию, в отпуск, молодой человек, лет двадцати восьми, родовой тамошний дворянин Михаил Максимович Куролесов, служивший в военной службе; он был, как говорится, молодец собой. Многие называли его даже красавцем, но иные говорили, что он, несмотря на свою красивость, был как-то неприятен, и я в ребячестве слыхал об этом споры между бабушкой и моими тетками. С пятнадцатилетнего возраста он находился в службе в каком-то известном тогда славном полку и дослужился уже до чина майора. В отпуск приезжал редко, да и приезжать было не к чему, потому что у него родового имения всего было душ с полтораста, и то малоземельных, находившихся в разнопоместном селении Грачовке. Разумеется, он не имел настоящего образования, но был боек на словах и писал также бойко и складно. Я имел в своих руках много его писем, из которых очевидно, что он был человек толковый, ловкий и в то же время твердый и деловой. Не знаю, как он был родня нашему бессмертному Суворову, но в переписке Куролесова я нашел несколько писем гениального полководца, которые всегда начинались так: «Милостивый государь мой, братец Михаил Максимович» и оканчивались: «С достодолжным почтением к вам и милостивой государыне сестрице Прасковье Ивановне, честь имею быть и проч.». Михаила Максимовича мало знали в Симбирской губернии, но как «слухом земля полнится», и притом, может быть, он и в отпуску позволял себе кое-какие дебоши, как тогда выражались, да и приезжавший с ним денщик или крепостной лакей, несмотря на строгость своего командира, по секрету кое-что пробалтывал, – то и составилось о нем мнение, которое вполне выражалось следующими афоризмами, что «майор шутить не любит, что у него ходи по струнке и с тропы не сваливайся, что он солдата не выдаст и, коли можно, покроет, а если попался, так уж помилованья не жди, что слово его крепко, что если пойдет на ссору, то ему и черт не брат, что он лихой, бедовый, что он гусь лапчатый, зверь полосатый…»,[26 - Двумя последними поговорками, несмотря на видимую их неопределенность, русский человек определяет очень много, ярко и понятно для всякого. (Прим. автора.)] но все единогласно называли его отличным хозяином. Носились также слухи, вероятно вышедшие из тех же источников, что майор большой гуляка, то есть охотник до женского пола и до хмельного, но знает всему место и время. Первая охота прикрывалась поговоркою, что «быль молодцу не укора»; а вторая, что «выпить мужчине не беда» и что «кто пьян да умен, – два угодья в нем». Итак майор Куролесов не имел положительно дурной репутации, а напротив, в глазах многих имел репутацию выгодную. К тому же был искателен, умел приласкаться и приласкать, оказывал уважение старшим и почетным людям, и потому приняли его все радушно и судовольствием. Будучи близким соседом Бактеевых, которым приходился дальним родственником по мужу дочери Бактеевой,

А. А. Курмышевой (да, кажется, и крестьяне их жили в одном селе), он умел так сыскать их расположение, что все его любили и носили на руках. Сначала делал он это без особенных видов, а вследствие своего неизменного правила «добиваться благосклонности людей почтенных и богатых»; но потом, увидев там живую, веселую и богатую Прасковью Ивановну, по наружности совершенную уже невесту, он составил план жениться на ней и прибрать к рукам ее богатство. С этой определенной целью он удвоил свои заискиванья к бабушке и тетке Прасковьи Ивановны и добился до того, что они в нем, как говорится, души не чаяли; да и за молодой девушкой начал так искусно ухаживать, что она его полюбила, разумеется как человека, который потакал всем ее словам, исполнял желания и вообще баловал ее. Михаил Максимович открылся родным Прасковьи Ивановны, прикинулся влюбленным в молодую сироту, и все поверили, что он ею смертельно заразился, грезит ею во сне и наяву, сходит от нее с ума; поверили, одобрили его намерение и приняли бедного старадальца под свою защиту. При таком благосклонном покровительстве родных нетрудно было ему успеть в своем намерении: он угождал девочке доставлением разных удовольствий, катал на лихих своих конях, качал на качелях и сам качался с ней, мастерски певал с нею русские песни, дарил разными безделушками и выписывал для нее затейливые детские игрушки из Москвы.

Зная, что для полного успеха необходимо получить согласие двоюродного брата и опекуна невесты, Михаил Максимович попробовал втереться к нему в милость. Под разными предлогами, с рекомендательными письмами от родных Прасковьи Ивановны, приезжал он к Степану Михайловичу в деревню, – но не понравился хозяину. С первого взгляда это может показаться странным: отчего бы не понравиться? У молодого майора были некоторые качества, которые как будто бы симпатизировали с свойствами Степана Михайловича; но у старика, кроме здравого ума и светлого взгляда, было это нравственное чутье людей честных, прямых и правдивых, которое чувствует с первого знакомства с человеком неизвестным кривду и неправду его, для других незаметную; которое слышит зло под благовидною наружностью и угадывает будущее его развитие. Ласковые речи и почтительный тон не обманули Степана Михайловича, и он сразу отгадал, что тут скрываются какие-нибудь плутни. Притом дедушка был самой строгой и скромной жизни, и слухи, еще прежде случайно дошедшие до него, так легко извиняемые другими, о беспутстве майора поселили отвращение к нему в целомудренной душе Степана Михайловича, и хотя он сам был горяч до бешества, но недобрых, злых и жестоких без гнева людей – терпеть не мог. Вследствие всего этого принял он Михаила Максимовича холодно и сухо, несмотря на умные и дельные разговоры обо всем и особенно о хозяйстве; когда

же гость, увидев Прасковью Ивановну, уже переехавшую в то время к моему дедушке, стал любезничать с нею, как старый знакомый, и она слушала его с удовольствием, то у дедушки, по обыкновению, покривилась голова на сторону, посдвинулись брови и покосился он на гостя неласково. Напротив, Арине Васильевне и всем дочерям гость очень приглянулся, потому что с первых минут он умел, к ним подольститься, и они пустились было с ним в разные ласковые речи; но вышесказанные мною зловещие признаки грозы на лице Степана Михайловича всех обдали холодом, и все прикусили язычки. Гость попытался восстановить общественное спокойствие и приятность беседы, но напрасно: от всех начал он получать короткие ответы, от хозяина же и не совсем учтивые. Делать было нечего, надо было уехать, хотя уже наступало позднее ночное время и следовало бы гостю, по деревенскому обычаю, остаться ночевать. «Дрянь человек и плут, авось в другой раз не приедет», – сказал Степан Михайлович семье своей, и, конечно, ничей голос не возразил ему; но зато потихоньку долго хвалили бравого майора, и охотно слушала и рассказывала про его угодливости молодая девочка, богатая сирота.

Похлебав несолоно, отъехал Михаил Максимович от Степана Михайловича и воротился к Бактеевой с известием о своей неудаче. Дедушку моего хорошо знали и с первой минуты потеряли всякую надежду на его добровольное согласие. Долго думали, но ничего не придумали. Отважный майор предлагал пригласить молодую девушку в гости к бабушке и обвенчаться с ней без согласия Степана Михайловича, но Бактеева и Курмышева были уверены, что дедушка мой не отпустит свою сестру одну, а если и отпустит, то очень не скоро, а майору оставаться долее было нельзя. Он предлагал отчаянное средство: уговорить Прасковью Ивановну к побегу, увезти ее и сейчас где-нибудь обвенчаться; но родные и слышать не хотели о таком зазорном деле, – и Михаил Максимович уехал в полк. Пути провидения для нас непостижимы, а потому мы не можем судить, отчего судьбе было угодно, чтоб это злое намерение увенчалось успехом. Через полгода, вдруг получила старуха Бактеева известие, что Степан Михайлович по весьма важному делу уезжает куда-то далеко и надолго. Куда и зачем уезжал он, – не знаю, только куда-то далеко, в Астрахань или в Москву, и непременно по делу, потому что брал с собой поверенного Пантелея Григорьевича. Сейчас послали грамоту к Степану Михайловичу и просили позволения, чтоб внучка, во время отсутствия своего опекуна и брата приехала погостить к бабушке, но получили короткий ответ; «что Параше и здесь хорошо и что если желают ее видеть, то могут приехать и прогостить в Троицком сколько угодно». Послав такой положительный ответ и пригрозив строго-настрого своей всегда покорной супруге, чтоб она берегла Парашу как зеницу своего ока и никуда из дома не отпускала, Степан

Михайлович отправился в путь.

Бактеева пересылалась и переписывалась с Прасковьей Ивановной и с семейством моего дедушки. Сейчас по получении известия, что он уехал, Бактеева уведомила об этом Михаила Максимовича Куролесова, прибавя, что Степан Михайлович уехал надолго и что не может ли он приехать, чтоб лично хлопотать по известному делу, а сама старуха Бактеева с дочерью немедленно отправилась в Троицкое. Она всегда была в дружеских отношениях с Ариной Васильевной; узнав, что Куролесов и ей очень понравился, она открылась, что молодой майор без памяти влюблен в Парашеньку; распространилась в похвалах жениху и сказала, что ничего так не желает, «как пристроить при своей жизни свою внучку-сиротинку, и уверена в том, что она будет счастлива; что она чувствует, что ей уже недолго жить на свете, и потому хотела бы поторопиться этим делом». Арина Васильевна с своей стороны совершенно одобрила такое намерение, но выразила сомнение, «чтобы Степан Михайлович на это согласился, и что, бог знает почему, Михаил Максимович, хотя всем взял, но ему больно не понравился». – Призвали на совет старших дочерей Арины Васильевны, и под председательством старухи Бактеевой и ее дочери Курмышевой, особенно горячо хлопотавшей за майора, положено было: предоставить улаживание этого дела родной бабушке, потому что она внучке всех ближе, но таким образом, чтоб супруга Степана Михайловича и ее дочери остались в стороне, как будто они ничего не знают и ничему не причастны. Я уже сказал прежде, что Арина Васильевна была женщина добрая и очень простая; дочери ее были совершенно на стороне Бактеевой, а потому и немудрено, что ее могли уговорить способствовать такому делу, за которое Степан Михайлович жестоко будет гневаться. Между тем беззаботная и веселая сирота и не подозревала, что решают судьбу ее. Об Михайле Максимовиче, часто говорили при ней, хвалили изо всех сил, уверяли, что он любит ее больше своей жизни, что день и ночь думает о том, как бы ей угодить, и что если он скоро приедет, то верно привезет ей множество московских гостинцев. Прасковья Ивановна слушала с удовольствием такие речи и говорила, что она сама никого на свете так не любит, как Михаила Максимовича. Покуда гостила старуха Бактеева в Троицком, ей привезли из деревни письмо от Куролесова, который уведомлял, что как скоро получит отпуск, то немедленно приедет. Наконец, Бактеева и Курмышева, условившись с Ариной Васильевной, что она ни о чем к своему супругу писать не станет и отпустит к ним Парашеньку, несмотря на запрещение Степана Михайловича, под предлогом тяжкой болезни родной бабушки, – уехали в свое поместье. Прасковья Ивановна плакала и просилась к бабушке, особенно узнав, что майор скоро приедет, но ее не пустили из уважения к приказанию братца Степана Михайловича. Куролесов не мог

получить немедленно себе отпуска и приехал месяца через два. Вскоре после его приезда отправили гонца с письмом в Троицкое к Арине Васильевне; в письме Курмышева уведомляла, что старуха Бактеева сделалась отчаянно больна, желает видеть и благословить внучку, а потому просит прислать ее с кем-нибудь; было прибавлено, что без сомнения Степан Михайлович не будет гневаться за нарушение его приказания, и конечно бы отпустил внучку проститься с своей родной бабушкой. Письмо очевидно было написано напоказ, для оправдания Арины Васильевны перед строгим супругом. Верная своему обещанию и обеспеченная таким письмом, Арина Васильевна немедленно собралась в дорогу и сама отвезла Парашеньку к ее мнимо-умирающей бабушке; прогостила у больной с неделю и воротилась домой, совершенно обвороженная ласковыми речами Михаила Максимовича и разными подарками, которые он привез из Москвы не только для нее, но и для дочерей ее. Прасковья Ивановна была очень довольна, бабушке ее стало сейчас лучше, угодник майор привез ей из Москвы много игрушек и разных гостинцев, гостил у Бактеевой в доме безвыездно, рассыпался перед ней мелким бесом и скоро так привязал к себе девочку, что когда бабушка объявила ей, что он хочет на ней жениться, то она очень обрадовалась и, как совершенное дитя, начала бегать и прыгать по всему дому, объявляя каждому встречному, что «она идет замуж за Михаила Максимовича, что как будет ей весело, что сколько получит она подарков, что она будет с утра до вечера кататься с ним на его чудесных рысаках, качаться на самых высоких качелях, петь песни или играть в куклы, не маленькие, а большие, которые сами умеют ходить и кланяться…» Вот в каком состоянии находилась голова бедной невесты. Мешкать не стали, опасаясь, чтоб не дошли слухи до Степана Михайловича; созвали соседей, сделали помолвку, обручили жениха с невестой, заставили поцеловаться, посадили рядочком за стол и выпили их здоровье. Невеста соскучилась было длинной церемонией, множеством поздравлений и сиденьем на одном месте, но когда позволили ей посадить возле себя свою новую московскую куклу, то сделалась очень весела, объявляла всем гостям, что это ее дочка, и заставляла куклу кланяться и вместе с ней благодарить за поздравления. Через неделю жениха с невестой обвенчали с соблюдением всех формальностей, показав новобрачной, вместо пятнадцатого, семнадцатый год, в чем по ее наружности никто усумниться не мог. – Хотя Арина Васильевна и ее дочери знали, на какое дело шли, но известие, что Парашенька обвенчана, чего они так скоро не ожидали, привело их в ужас: точно спала пелена с их глаз, точно то случилось, о чем они и не думали, и они почувствовали, что ни мнимая смертельная болезнь родной бабушки, ни письмо ее – не защита им от справедливого гнева Степана Михайловича. Еще прежде известия о свадьбе отправила Арина Васильевна письмо к своему супругу, в котором уведомляла, что по таким-то важным причинам отвезла она внучку к

умирающей бабушке, что она жила там целую неделю и что хотя бог дал старухе Бактеевой полегче, но Парашеньку назад не отпустили, а оставили до выздоровления бабушки; что делать ей было нечего, насильно взять нельзя, и она поневоле согласилась и поспешила уехать к детям, которые жили одни-одинёхоньки, и что теперь опасается она гнева Степана Михайловича. На это письмо он отвечал, что Ариша сделала глупо, чтоб она ехала опять к старухе Бактеевой и во что бы то ни стало привезла Парашу домой. Арина Васильевна вздыхала, плакала над письмом и не знала, что делать. Молодые Куролесовы не замедлили приехать к ней с визитом. Парашенька казалась совершенно счастливою и веселою, хотя уже не так детски резвою. Муж ее также казался вполне счастливым и в то же время был так спокоен и рассудителен, что успокоил бедную Арину Васильевну своими умными речами. Он убедительно доказал, что весь гнев Степана Михайловича упадет на родную бабушку Бактееву, которая тоже по своей опасной болезни, хотя ей теперь, благодаря бога, лучше, имела достаточную причину не испрашивать согласия Степана Михайловича, зная, что он не скоро бы дал его, хотя конечно бы со временем согласился; что мешкать ей было нельзя, потому что она, как говорится, на ладан дышала и тяжело было бы ей умирать, не пристроив своей родной внучки, круглой сироты, потому что не только двоюродный, но и родной брат не может заменить родной бабушки. Много было наговорено подобных успокоительных рассуждений, сопровождаемых богатыми свадебными подарками, которые были приняты с большим удовольствием, смешанным с некоторым страхом. Оставлены были подарки и для Степана Михайловича. Михаил Максимович посоветовал Арине Васильевне, чтоб она погодила писать к своему супругу до получения ответа на известительное и рекомендательное письмо молодых и уверил, что он вместе с Прасковьей Ивановной будет немедленно писать к нему, но писать он и не думал и хотел только отдалить грозу, чтоб успеть, так сказать, утвердиться в своем новом положении. После женитьбы Михаил Максимович послал немедленно просьбу об увольнении его в отставку, которую и получил очень скоро. Первым его делом было объездить с молодой своей женой всех родственников и всех знакомых как с ее стороны, так и с своей. В Симбирске же, начиная с губернатора, не было забыто ни одно служебное, ни одно сколько-нибудь значительное лицо. Все не могли довольно нахвалиться прекрасною парочкой молодых, во всех так умели найти они благосклонное расположение, что одобрение этого брака сделалось общим мнением. Так прошло несколько месяцев.

Степан Михайлович, не получая давно писем из дому, видя, что дело его затянулось, соскучившись в разлуке с семейством, вдруг в один прекрасный день воротился неожиданно в свое Троицкое. Задрожали и руки и ноги у Арины

Васильевны, когда она услыхала страшные слова: «Барин приехал». – Степан Михайлович, узнав, что все живы и здоровы, светел и радостен вошел в свой господский дом, расцеловал свою Аришеньку, дочерей и сына и весело спросил: «Да где же Параша?» Ободрившись ласковостью супруга, Арина Васильевна отвечала ему с притворной улыбкой: «Где, доподлинно не знаю; может, у бабушки. Да ведь ты, батюшка, давно изволишь знать, что Парашенька замужем». Не стану описывать изумления и гнева моего дедушки; гнев этот удвоился, когда он узнал, что Прасковья Ивановна, выдана за Куролесова. Степан Михайлович принялся было за расправу с своей супругой, но она, повалившись ему в ноги со всеми дочерьми и представив письма старухи Бактеевой, успела уверить его, что «знать ничего не знает и что она была сама обманута». Бешенство Степана Михайловича обратилось на старуху Бактееву; он приказал себе приготовить других лошадей и, отдохнув часа два-три, поскакал прямо к ней. Можно себе представить, какую схватку учинил он с бабушкой Прасковьи Ивановны. Старуха, вытерпев первый поток самых крепких ругательств, приосанилась и, разгорячившись в свою очередь, сама напала на моего дедушку: «Да что ж это ты развоевался, как над своей крепостной рабой, – сказала она, – разве ты забыл, что я такая же столбовая дворянка, как и ты, и что мой покойный муж был гораздо повыше тебя чином. Я поближе тебя к Парашеньке, я родная бабушка ей и такая же опекунша, как и ты. Я устроила ее счастие, не дожидаясь твоего согласия, потому что была больна при смерти и не хотела ее оставить на всю твою волю; ведь я знаю, что ты бешеный и сумасшедший; живя у тебя, пожалуй, она в иной час и палки отведала; Михаил Максимович ей по всему пара, и Парашенька его сама полюбила. Да и кто же его не полюбит и не похвалит! Тебе только он не угодил, а ты спроси-ка твою семью, так и узнаешь, что она им не нахвалится». – «Врешь ты, старая мошенница, – вопил мой дедушка, – ты обманула мою Аришу, прикинулась, что умираешь… Ты продала свою внучку разбойнику Мишке Куролесову, который приворотил вас с дочкой к себе нечистой силой…» Старуха Бактеева вышла из себя и в запальчивости выболтала, что Арина Васильевна и ее дочери были с ней заодно и заранее приняли разные подарки от Михаила Максимовича. Такие слова обратили опять весь гнев Степана Михайловича на его семейство. Погрозив, что он разведет Парашу с мужем по ее несовершеннолетию, он отправился домой, но заехал по дороге к священнику, который венчал Куролесовых. Он грозно потребовал у него отчета, но тот очень спокойно и с уверенностью показал ему обыск, подпись бабушки и невесты, рукоприкладство свидетелей и метрическое свидетельство из духовной консистории, что Прасковье Ивановне семнадцатый год. Это был новый удар для моего дедушки, лишивший его всякой надежды к расторжению ненавистного ему брака и несказанно усиливший его гнев на Арину Васильевну и дочерей. Я не буду распространяться о том, что он делал,

воротясь домой. Это было бы ужасно и отвратительно. По прошествии тридцати лет тетки мои вспоминали об этом времени, дрожа от страха. Я скажу только в коротких словах, что виноватые признались во всем, что все подарки, и первые, и последние, и назначенные ему, он отослал к старухе Бактеевой для возвращения кому следует, что старшие дочери долго хворали, а у бабушки не стало косы и что целый год ходила она с пластырем на голове. Молодым же Куролесовым он дал знать, чтобы они не смели к нему и глаз показывать, а у себя дома запретил поминать их имена.

Между тем время шло, залечивая всякие раны, и духовные и телесные, успокаивая всякие страсти. Через год зажила голова у Арины Васильевны, утих гнев в сердце Степана Михайловича. Сначала он не хотел не только видеть, но и слышать об молодых Куролесовых, даже не читал писем Прасковьи Ивановны; но к концу года, получая со всех сторон добрые вести об ее житье и о том, как она вдруг сделалась разумна не по годам, Степан Михайлович смягчился, и захотелось ему видеть свою милую сестричку. Он рассудил, что она менее всех виновата, что она была совершенный ребенок, – и позволил приехать ей в Троицкое, но без мужа. Разумеется, она сейчас прискакала. В самом деле, Прасковья Ивановна так переменилась в один год своего замужества, что Степан Михайлович не мог надивиться. И странное дело, откуда вдруг взялась у нее такая любовь и признательность к своему двоюродному брату, какой она вовсе не чувствовала до замужства и еще менее, казалось, могла почувствовать после своей свадьбы? Прочла ли она в ега глазах, полных слез при встрече с нею, сколько скрывается любви под суровой наружностью и жестоким самовластием этого человека? Было ли это темное предчувствие будущего, или неясное понимание единственной своей опоры и защиты? Почувствовала ли она бессознательно, что из всех баловниц и потатчиц ее ребяческим желаниям – всех больше любит ее грубый брат, противник ее счастия, не взлюбивший любимого ею мужа?.. Не знаю, но для всех было поразительно, что прежняя легкомысленная, равнодушная к брату девочка, не понимавшая и не признававшая его прав и своих к нему обязанностей, имеющая теперь все причины к чувству неприязненному за оскорбление любимой бабушки, – вдруг сделалась не только привязанною сестрою, но горячею дочерью, которая смотрела в глаза своему двоюродному брату, как нежно и давно любимому отцу, нежно и давно любящему свою дочь… Как бы то ни было, но внезапно родившееся чувство прекратилось только с ее жизнию. Что за чудная перемена сделалась во всем существе Прасковьи Ивановны в такие молодые лета в один год замужства? Пропало неразумное дитя, и явилась, хотя веселая, но разумная женщина. Она искренне признавала всех виноватыми пред Степаном Михайловичем. Извиняла только себя неразумием, а бабушку, мужа и других –

горячею и слепою к ней любовию. Она не просила, чтоб Степан Михайлович сейчас простил ее мужа, виноватого больше всех, но надеялась, что со временем, видя, как она счастлива, какой попечительный, неутомимый хозяин ее муж, как устраивает ее состояние, – братец простит Михаила Максимовича и позволит ему приехать. Хотя дедушка мой ничего не сказал на такие слова, но был совершенно побежден ими. Он не стал долго держать у себя свою умную сестрицу, как он стал называть ее с этих пор, и отправил немедленно к мужу, говоря, что теперь там ее место. Прощаясь, он сказал ей: «Если через год ты будешь так же довольна своим мужем, и он будет так же хорошо с тобою жить, то я помирюсь с ним». И точно, через год, зная, что Михаил Максимович ведет себя хорошо и занимается устройством имения жены своей с неусыпным рвением, видя нередко свою сестрицу здоровою, довольною и веселою, Степан Михайлович сказал ей: «Привози своего мужа». Он принял Куролесова с радушием, прямо и откровенно высказал свои прежние сомнения и обещал ему, если он всегда будет так хорошо себя вести, – родственную любовь и дружбу. Михайла Максимович держал себя очень умно; он не был так вкрадчив и искателен, как прежде, но так же почтителен, внимателен, предупредителен. В нем слышалось больше самостоятельности, и уверенности; он был озабочен, погружен в хозяйственные дела, просил советов у старика, понимал их очень хорошо и пользовался ими с отличным уменьем. Он счелся с ним в дальнем родстве сам по себе и называл его дядюшкой, Арину Васильевну тетушкой, сына их братцем, а дочерей сестрицами. Он оказал Степану Михайловичу какую-то услугу еще до своего примирения, или прощения; дедушка знал это и теперь сказал ему спасибо и даже поручил о чем-то похлопотать. Одним словом, дело уладилось превосходно. Казалось, все обстоятельства говорили в пользу Михайла Максимовича, но дедушка повторял свое: «Хорош парень, ловок и смышлен, а сердце не лежит».

Так прошел еще год, в продолжение которого Степан Михайлович переселился в Уфимское наместничество. В первые три года после женитьбы Куролесов вел себя скромно и смирно или по крайней мере так скрытно, что ничего не было слышно. Впрочем, он дома жил мало и всё время проводил в разъездах. Один только слух носился везде и даже увеличивался, – что молодой хозяин строгонек. В следующие два года Куролесов наделал чудеса по устройству имения жены своей, что неоспоримо доказывало его неусыпную деятельность, предприимчивость и железную волю в исполнении своих предприятий. Имение Прасковьи Ивановны управлялось прежде очень плохо: оно было расстроено, запущено, крестьяне избалованы. Они давали очень мало дохода не потому, чтобы местность была невыгодна для сбыта хлеба, но потому, что они, кроме того что плохо работали, были малоземельны и находились отчасти в общем

владении с бабушкой Бактеевой и теткой Курмышевой. Михаил Максимович с того начал, что принялся за перевод крестьян на новые места, а старые земли продал очень выгодно. Он купил степь в Симбирской губернии (теперь Самарской), в Ставропольском уезде, около семи тысяч десятин, землю отличную, хлебородную, чернозем в полтора аршина глубиною, ровную, удобную для хлебопашества, по речке «Берля», в вершинах которой только рос по отрогам небольшой лесок; да был еще заповедный «Медвежий Враг», который и теперь составляет единственный лес для всего имения. Там поселил он триста пятьдесят душ. Это вышло имение отменно выгодное, потому что находилось во ста верстах от Самары, и в шестидесяти и в сорока верстах от многих волжских пристаней. Известно, что удобный сбыт хлеба составляет у нас все достоинство имения. Потом отправился Михайла Максимович в Уфимское наместничество и купил у башкирцев примерно по урочищам более двадцати тысяч десятин, также чернозема, хотя далеко не так богатого, как в Симбирской губернии, но с довольным количеством дровяного и даже строевого леса. Земля лежала по реке Усень и по речкам Сююш, Мелеус, Кармалка и Белебейка; тогда, кажется, это был Мензелинский уезд, а теперь Белебеевский, принадлежащий к Оренбургской губернии. Там поселил он, на истоке множества ключей, составляющих речку большой Сююш, четыреста пятьдесят душ, да на речке Белебейке 50 душ. Большую деревню назвал «Парашино», а маленькую – «Ивановка». Симбирское же имение называлось «Куролесово», и все три названия составляли имя, отчество и фамилию его жены. Эта романическая затея в таком человеке, каким явится впоследствии Михайла Максимович, всегда меня удивляла. Впрочем, есть люди, которые находят, что подобные выходки бывают часто. Резиденцию свою и своей супруги устроил он в особом ее родовом материнском имении, состоящем из трехсот пятидесяти душ, в селе Чурасове, находящемся в пятидесяти верстах от губернского города. Там выстроил он, по-тогдашнему, великолепный господский дом со всеми принадлежностями; отделал его на славу, меблировал отлично, расписал весь красками внутри и даже снаружи; люстры, канделябры, бронза, фарфоровая и серебряная посуда удивляли всех; дом поставил на небольшом косогоре, из которого били и кипели более двадцати чудных родниковых ключей. Дом, косогор, родники, всё это обхватывалось и заключалось в богатом плодовитом саду, на двенадцати десятинах, со всевозможными сортами яблоков и вишен. Внутреннее хозяйство дома, прислуга, повара, экипажи, лошади, всё было устроено и богато, и прочно. Окружные соседи, которых было немало, и гости из губернского города не переводились в Чурасове: ели, пили, гуляли, играли в карты, пели, говорили, шумели, веселились. Парашеньку свою Михайла Максимович одевал как куклу, исполнял, предупреждал все ее желания, тешил с утра до вечера, когда только бывал дома. Одним словом, в несколько лет во всех отношениях он поставил

себя на такую ногу, что добрые люди дивились, а недобрые завидовали. Михаил Максимович не забыл и о церкви и в два года, вместо ветхой деревянной, выстроил и снабдил великолепною утварью новую каменную церковь; даже славных певчих завел из своих дворовых людей. На четвертом году замужства Прасковья Ивановна, совершенно довольная и счастливая, родила дочь, а потом через год и сына; но дети не жили: девочка умерла на первом же году, а сын уже трех лет. Прасковья Ивановна так привязалась было к нему, что эта потеря стоила ей дорого. Целый год она не осушала глаз, и даже необыкновенно крепкое ее здоровье очень расстроилось, и более детей она не имела. Между тем авторитет Михайла Максимовича в общественном мнении рос не по дням, а по часам. С мелким и бедным дворянством, правду сказать, поступал он крутенько и самовластно, и хотя оно его не любило, но зато крепко боялось, а высшее дворянство только похваливало Михайла Максимовича за то, что он не дает забываться тем, кто его пониже. Год от году становились чаще и продолжительнее отлучки Куролесова, особенно с того несчастного года, когда Прасковья Ивановна потеряла сына и неутешно сокрушалась. Вероятно, ее супругу наскучили слезы, вздохи и тишина в уединении, потому что Прасковья Ивановна целый год не хотела никого видеть. Впрочем, и самое шумное и веселое общество в Чурасове его к себе не привлекало.

Мало-помалу стали распространяться и усиливаться слухи, что майор не только строгонек, как говорили прежде, но и жесток, что забравшись в свои деревни, особенно в Уфимскую, он пьет и развратничает, что там у него набрана уже своя компания, пьянствуя с которой, он доходит до неистовств всякого рода, что главная беда: в пьяном виде немилосердно дерется безо всякого резону и что уже два-три человека пошли на тот свет от его побоев, что исправники и судьи обоих уездов, где находились его новые деревни, все на его стороне, что одних он задарил, других запоил, а всех запугал; что мелкие чиновники и дворяне перед ним дрожкой дрожат, потому что он всякого, кто осмеливался делать и говорить не по нем, хватал середи бела дня, сажал в погреба или овинные ямы и морил холодом и голодом на хлебе да на воде, а некоторых без церемонии дирал немилосердно какими-то кошками.[27 - Кошки были любимым орудием наказания у Михайла Максимовича. Это не что иное, как ременные плети, оканчивающиеся семью хвостами из сыромятной кожи с узлами на конце каждого хвоста. В Парашине даже после смерти Куролесова некоторое время сохранились в кладовой, разумеется без употребления, эти отвратительные орудия, и я видел их сам. Когда имение досталось сыну Степана Михайловича, кошки были сожжены. (Прим. автора.)] Слухи были не только справедливы, но слишком умеренны; действительность далеко превосходила робкую молву. Кровожадная натура Куролесова, воспламеняемая до бешенства спиртными

парами, развивалась на свободе во всей своей полноте и представила одно из тех страшных явлений, от которых содрогается и которыми гнушается человечество. Это ужасное соединение инстинкта тигра с разумностью человека.

Наконец, слухи превратились в достоверность, и никто из окружающих Прасковью Ивановну, родных, соседей и прислуги, никто уже не ошибался на счет Михайла Максимовича. Когда он возвращался в Чурасово после своих страшных подвигов, то вел себя попрежнему почтительно к старшим, ласково и внимательно к равным, предупредительно и любезно к своей жене, которая, выплакав свое горе, опять стала здорова и весела, а дом ее попрежнему был полон гостей и удовольствий. Хотя Михайло Максимович ни с кем в Чурасове не дрался, предоставляя это удовольствие старосте и дворецкому, но все понаслышке дрожали от одного его взгляда; даже в обращении с ним родных и коротких знакомых было заметно какое-то смущение и опасение. Прасковья Ивановна ничего не замечала, а если и замечала, то приписывала совсем другой причине: невольному уважению, которое внушал всем Михайло Максимович своим диковинным хозяйством, своим уменьем жить богато и разумной твердостью своих поступков. Люди рассудительные, любящие Прасковью Ивановну, видя ее совершенно спокойною и счастливою, радовались, что она ничего не знает, и желали, чтобы как можно долее продолжилось это незнание. Конечно, и между тогдашними приживалками и мелкопоместными соседками были такие, у которых очень чесался язычок и которым очень хотелось отплатить высокомерному майору за его презрительное обращение, то есть вывести его на свежую воду; но кроме страха, который они чувствовали невольно и который вероятно не удержал бы их, было другое препятствие для выполнения таких благих намерений: к Прасковье Ивановне не было приступу ни с какими вкрадчивыми словами о Михайле Максимовиче; умная, проницательная и твердая Прасковья Ивановна сейчас замечала, несмотря на хитросплетаемые речи, что хотят ввернуть какое-нибудь словцо, невыгодное для Михайла Максимовича, она сдвигала свои темные брови и объявляла решительным голосом, что тот, кто скажет неприятное для ее мужа, никогда уже в доме ее не будет. После такого предупредительного и грозного выражения, разумеется, уже никто не осмеливался путаться не в свое дело. Приближенная к Прасковье Ивановне прислуга, особенно один старик, любимец покойного ее отца, и старуха, ее нянька, которых преимущественно жаловала госпожа, но с которыми, вопреки тогдашним обычаям, не входила она в короткие сношения, – также ничего не могли сделать. Старику и старухе, о которых я сейчас сказал, была кровная нужда, чтобы их барыня узнала настоящую правду о своем супруге: близкие родные их, находившиеся в прислуге у барина, невыносимо

страдали от жестокости своего господина. Наконец, старик и старуха решились рассказать барыне всё и, улучив время, когда Прасковья Ивановна была одна, вошли к ней оба; но только вырвалось у старушки имя Михайла Максимовича, как Прасковья Ивановна до того разгневалась, что вышла из себя; она сказала своей няне, что если она когда-нибудь разинет рот о барине, то более никогда ее не увидит и будет сослана на вечное житье в Парашино. Таким образом прекращены были все пути к доносу на Михайла Максимовича и заткнуты все рты. Прасковья Ивановна верила безусловно своему мужу и любила его. Она знала, что посторонние люди охотно путаются в чужие дела, охотно мутят воду, чтобы удачнее ловить в ней рыбу, и она заранее приняла твердое намерение, постановила неизменным правилом не допускать до себя никаких рассуждений о своем муже. Правило очень мудрое, необходимое для сохранения спокойствия в семейной жизни; но нет правила без исключения.

Может быть, что в настоящем случае твердый нрав и крепкая воля Прасковьи Ивановны, сильно подкрепленные тем обстоятельством, что всё богатство принадлежало ей, могли бы в начале остановить ее супруга и он, как умный человек, не захотел бы лишить себя всех выгод роскошной жизни, не дошел бы до таких крайностей, не допустил бы вырасти вполне своим чудовищным страстям и кутил бы умеренно, втихомолку, как и многие другие.

Так протекло несколько лет. Михайла Максимович предавался на свободе своим наклонностям, быстро развивался и, наконец, начал совершать безнаказанно неслыханные дела. Я не стану рассказывать подробно, какую жизнь вел он в своих деревнях, особенно в Парашине, а также в уездных городишках: это была бы самая отвратительная повесть. Я скажу только то, что необходимо для получения настоящего понятия об этом страшном человеке. Первые года, занимаясь устройством жениных имений, можно сказать с самозабвением, он мог назваться самым умным, деятельным и попечительным хозяином. Всеми бесконечно разнообразными и тяжелыми заботами и хлопотами, соединенными с дальним переселением крестьян и водворением их на местах нового жительства, – Михайла Максимович неусыпно занимался сам, постоянно имея в виду одно: благосостояние крестьян. Он умел не жалеть денег, где было нужно, смотрел, чтобы они доходили до рук вовремя, в меру, и предупреждал всякие надобности и нужды переселенцев. Сам выпроваживал их со старины, сам ехал с ними большую часть дороги и сам встречал их на новоселье, снабженном всем для их приема и помещения. Правда, он был слишком строг, жесток в наказании виноватых, но справедлив в разборе вин и не ставил крестьянину всякого лыка в строку; он позволял себе от времени до времени гульнуть, потешиться денек-другой, завернув куда-нибудь в сторонку, но хмель и буйство скоро слетали с

него, как с гуся вода, и с новой бодростию являлся он к своему делу.

Да, дело лежало у него на плечах, занимало все его умственные способности и не давало ему предаться пагубному пьянству, которое, отнимая у него ум, снимало узду с его страстей, чудовищных, бесчеловечных. Да, дело спасало его. Когда же он привел в порядок обе новые деревни – Куролесово и Парашино, устроил в них господские усадьбы с флигелями, а в Парашине небольшой помещичий дом; когда у него стало мало дела и много свободного времени, – пьянство, с его обыкновенными последствиями, и буйство совершенно овладели им, а всегдашняя жестокость мало-помалу превратилась в неутолимую жажду мук и крови человеческой. Избалованный страхом и покорностию всех его окружающих людей, он скоро забылся и перестал знать меру своему бешеному своеволию. Он выбрал себе из дворовых и даже из крестьян десятка полтора головорезов, достойных исполнителей его воли, и образовал из них шайку разбойников. Видя, что барину всё сходило с рук, они поверили его всемогуществу, и сами, пьяные и развратные, охотно и смело исполняли все его безумные приказания. Досаждал ли кто Михайлу Максимовичу непокорным словом или поступком, например даже хотя тем, что не приехал в назначенное время на его пьяные пиры, – сейчас, по знаку своего барина, скакали они к провинившемуся, хватали его тайно или явно, где бы он ни попался, привозили к Михайлу Максимовичу, позорили, сажали в подвал в кандалы или секли по его приказанию. Михайла Максимович очень любил хорошие вещи, хороших лошадей и любил, как украшение дома, хорошие, по его мнению, картины. Если что-нибудь подобное нравилось ему в доме своего соседа или просто в том доме, где ему случилось быть, то он сейчас предлагал хозяину поменяться; в случае несогласия его он предлагал иногда и деньги, если был в хорошем духе; если и тут хозяин упрямился, то Михайла Максимович предупреждал его, что возьмет даром. В самом деле, через несколько времени являлся он с своей шайкой, забирал всё, что ему угодно, и увозил к себе; на него жаловались, предписывали произвесть следствие; но Михайла Максимович с первого разу приказал сказать земскому суду, что он обдерет кошками того из чиновников, который покажет ему глаза, и – оставался прав, а челобитчик между тем был схвачен и высечен, иногда в собственном его имении, в собственном доме, посреди семейства, которое валялось в ногах и просило помилования виноватому. Бывали насилия и похуже и также не имели никаких последствий. Через несколько времени Михайла Максимович мирился с обиженными, удовлетворяя их иногда деньгами, а чаще привлекая к миру страхом; но похищенное добро оставалось его законною собственностью. Пируя с гостями, он любил хвастаться, что вот эту красотку в золотых рамах отнял он у такого-то господина, а это бюро с бронзой у такого-то, а эту серебряную стопку у такого-то, – и все эти такие-то господа

нередко пировали тут же и притворялись, что не слышат слов хозяина, или скрепя сердце сами смеялись над собой. Михайла Максимович имел удивительно крепкое сложение; он пил много, но никогда не напивался до положения риз, как говорится; хмель не валил его с ног, а поднимал на ноги и возбуждал страшную деятельность в его отуманенном уме, в его разгоряченном теле. Любимым его наслаждением было – заложить несколько троек лихих лошадей во всевозможные экипажи, разумеется, с колокольчиками, насажать в них своих собеседников и собеседниц, дворню, кого ни попало, и с громкими песнями и криками скакать во весь дух по окольным полям и деревням. Имея с собой всегда запас вина, он особенно любил напоить допьяна всякого встречного, какого бы звания, пола и возраста он ни был, и больно секал того, кто осмеливался ему противиться. Наказанных привязывали к деревьям, к столбам и заборам, не обращая внимания ни на дождь, ни на стужу. О более возмутительных насилиях я умалчиваю. В таком расположении духа ехал он однажды через какую-то деревню; проезжая мимо овинного тока, на котором молотило крестьянское семейство, он заметил женщину необыкновенной красоты. «Стой! – закричал Михайла Максимович. – Петрушка! какова баба?» – «Больно хороша!» – отвечал Петрушка. «Хочешь на ней жениться?» – «Да как же жениться на чужой жене?» – отвечал ухмыляясь Петрушка. «А вот как! Ребята! бери ее, сажай ко мне в повозку…» Женщину схватили, посадили в повозку, привезли прямо в приходское село, и хотя она объявила, что у ней есть муж и двое детей, обвенчали с Петрушкой, и никаких просьб не было не только при жизни Куролесова, но даже при жизни Прасковьи Ивановны. Когда же всё имение перешло в руки ее племянника, он возвратил эту женщину вместе с мужем и детьми прежнему ее господину: первый муж давно уже умер. Наследник, то есть тот же племянник, роздал также несколько разных вещей прежним хозяевам, которые предъявили свои требования; многие же вещи долго валялись в кладовых, пока не истлели от ветхости. Трудно поверить, чтоб могли совершаться такие дела в России даже и за восемьдесят лет, но в истине рассказа нельзя сомневаться.

Как ни была ужасна и отвратительна сама по себе эта преступная, пьяного буйства исполненная жизнь, но она повела еще к худшему, к более страшному развитию природной жестокости Михайла Максимовича, превратившемся, наконец, в лютость, в кровопийство. Терзать людей сделалось его потребностью, наслаждением. В те дни, когда случалось ему не драться, он был скучен, печален, беспокоен, даже болен, и потому час от часу становились реже его поездки в Чурасово и короче пребывания там. Зато воротясь в свое любимое Парашино, он спешил вознаградить себя. Обзор хозяйственных заведений представлял ему достаточное число жертв; тут уже всякая вина была виновата,

а в каком хозяйстве нельзя найти каких-нибудь мелочных упущений, если захочешь отыскать их! Впрочем, от лютости Михайла Максимовича страдали преимущественно дворовые люди. Он редко наказывал крестьян, и то в случаях особенной важности или личной известности ему виноватого человека; зато старосты и приказчики терпели от него наравне с дворовыми. У него не было пощады никому, и каждый из его приближенных, а иной и не один раз, бывал наказан насмерть. Замечательно, что когда Михайла Максимович сердился, горячился и кричал, что бывало редко, – он не дрался; когда же добирался до человека с намерением потешиться его муками, он говорил тихо и даже ласково: «Ну, любезный друг, Григорий Кузьмич (вместо обыкновенного Гришки), делать нечего, пойдем, надобно мне с тобой рассчитаться». С такими словами обращался он к главному своему конюху, по прозванью Ковляге, который, неизвестно почему, чаще других подвергался истязаниям. «Поцарапайте его кошечками», – говорил с улыбкой Михайла Максимович окружающим, и начиналась долговременная пытка, в продолжение которой барин пил чай с водкой, курил трубку и от времени до времени пошучивал с несчастной жертвой, покуда она еще могла слышать… Меня уверяли достоверные свидетели, что жизнь наказанных людей спасали только тем, что завертывали истерзанное их тело в теплые, только что снятые шкуры баранов, тут же зарезанных. Осмотрев внимательно наказанного человека, Михайла Максимович говорил, если был доволен: «Ну, будет с него, приберите к месту…» и делался весел, шутлив и любезен на целый день, а иногда и на несколько дней. Чтобы довершить характеристику этого страшного существа, я приведу его собственные слова, которые он не один раз говаривал в кругу пирующих собеседников: «Не люблю палок и кнутьев, что в них? Как раз убьешь человека! То ли дело кошечки: и больно и не опасно!» Я рассказал десятую долю того, что знаю, но кажется и этого довольно. Замечательно, как необъяснимое явление и противоречие в искаженной человеческой природе, что Михайла Максимович, достигнув высшей степени разврата и лютости, ревностно занялся построением каменной церкви в Парашине; он производил эту работу экономически. В то время, на котором остановился мой рассказ, церковь по наружности была отделана и наняты были мастеровые для внутренней отделки; столяры, резчики, золотари и иконописцы уже несколько месяцев работали в Парашине, занимая весь господский дом.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Уфимское наместничество было образовано в 1781 г. из двух областей – Оренбургской и Уфимской.

2

Тюба – волость. (Прим. автора.)

3

Ста?вленый мед – мед, который парят в глухо замазанном сосуде.

4

Лагу?н – бочонок.

5

Корчажное пиво – варенное в корча?гах, т. е. в глиняных горшках.

6

Русские обитатели Оренбургской губернии до сих пор, говоря с башкирцами, стараются точно так же ломать русскую речь, как и сами башкирцы. (Прим. автора.)

7

Чебызга – дудка, которую башкирец берет в рот, как кларнет, и, перебирая лады пальцами, играет на ней двойными тонами, так что вы слышите в одно и то же время каких-то два разных инструмента. Мне сказывали музыканты, что чебызга чудное явление в мире духовых инструментов. (Прим. автора.)

8

Припущенниками называются те, которые за известную ежегодную или единовременную плату, по заключенному договору на известное число лет, живут на башкирских землях. Почти ни одна деревня припущенников, по окончании договорного срока, не оставила земель башкирских; из этого завелись сотни дел, которые обыкновенно заканчиваются тем, что припущенники оставляются на местах своего жительства в нарезкой им пятнадцатидесятинной пропорции на каждую ревизскую душу по пятой ревизии… и вот как перешло огромное количество земель Оренбургской губернии в собственность татар, мещеряков, чуваш, мордвы и других казенных поселян. (Прим. автора.)

9

Урочище – естественный межевой знак (речка, гора, овраг и т. п.).

10

Сырт – водораздел; возвышенность, разделяющая притоки двух рек.

11

Акаевский бунт – одно из крупнейших восстаний башкирского народа, вспыхнувшее в 1735 году под предводительством Акая.

12

Уремой называется лес и кусты, растущие около рек. (Прим. автора.)

13

Каузом называется деревянный ящик, по которому вода бежит и падает на колеса: около Москвы зовут его дворец (дверец), а в иных местах скрыни. (Прим. автора.)

14

«Так писал о тебе, лет тридцать тому назад, один из твоих уроженцев», – Аксаков привел стихи, написанные им самим.

15

Яхонт – старинное название драгоценных камней – сапфира и рубина.

16

Борть – дуплистое дерево, в котором водятся дикие пчелы.

17

Кумыс – напиток из кобыльего молока; молоко заквашивается особым способом.

18

Турсук – мешок из сырой кожи, снятый с лошадиной ноги. (Прим. автора.)

19

Красной рыбой называются белуга, осетр, севрюга, шип, белорыбица и другие. (Прим. автора.)

20

Багренье – лов рыбы багром.

21

Помещики, жившие с дедушкой в Старом Багрове и владевшие вместе с ним неразмежеванной землей. (Прим. автора.)

22

Мещеряки – часть поволжских татар.

23

Шлычка – женский головной убор, вроде чепца.

24

Марена (крапп) – травянистое растение. Из корней добывается красная краска для тканей.

25

Прозванье «Горожаны» она имела потому, что несколько времени смолоду жила в каком-то городе. (Прим. автора.)

26

Двумя последними поговорками, несмотря на видимую их неопределенность, русский человек определяет очень много, ярко и понятно для всякого. (Прим. автора.)

27

Кошки были любимым орудием наказания у Михайла Максимовича. Это не что иное, как ременные плети, оканчивающиеся семью хвостами из сыромятной кожи с узлами на конце каждого хвоста. В Парашине даже после смерти Куролесова некоторое время сохранились в кладовой, разумеется без употребления, эти отвратительные орудия, и я видел их сам. Когда имение досталось сыну Степана Михайловича, кошки были сожжены. (Прим. автора.)

Купить: https://tellnovel.com/sergey-aksakov/semeynaya-hronika

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити